

Пумпянский Л. В. Кантемир // История русской литературы: В 10 т. / АН СССР. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941—1956.
Т. III: Литература XVIII века. Ч. 1. — 1941. — С. 176—212.

- 176 -

Кантемир

1

В XVI в. влиятельная татарская семья Кантемиров (по семейному преданию, восходившая к Тамерлану, откуда, будто бы, и фамилия Хан-Тимур) обосновалась в Молдавии и приняла христианство. Константина Кантемира, деда нашего поэта, за заслуги в польско-турецкой войне 1672 г. султан назначил молдавским господарем, но сына его, из обычной в истории султанского режима предосторожности, взял заложником в Константинополь; здесь молодой Дмитрий Константинович изучил турецкий язык и персидский, много занимался турецкой историей, а так как в среде молдавской аристократии XVII в. итальянский язык и итальянская культура были чрезвычайно распространены (как и на всем Ближнем Востоке), то у Дмитрия Кантемира был ключ и к новой европейской науке. Он стал одним из образованнейших в Турции вельмож. Когда в 1710 г. Петр начал турецкий поход, султан назначил Кантемира молдавским господарем. Европейски образованный человек, поклонник русского царя-реформатора, Кантемир задумал освобождение Молдавии от турецкого ига и присоединение ее к России. В 1711 г. он подписал тайный договор с Петром. Окруженный на Пруте превосходящими турецкими силами, Петр в переговорах с великим визирем категорически отказался выдать Турции доверившегося ему Кантемира; визирь был принужден уступить, и Кантемир с семьей (в том числе двухлетним Антиохом) и несколькими тысячами молдавских дворян нашел приют в России.

Петр высоко ценил таланты и знания бывшего молдавского господаря и обращался к нему по всем вопросам, касавшимся Ближнего Востока. Впрочем, Дмитрий Кантемир был в этих вопросах европейски признанным авторитетом. Его «История Оттоманской империи» (на латинском языке) была не только известна всей Европе, но для вольтерова поколения, как, кстати, и для самого Вольтера, была основным источником сведений о Турции. В России Кантемир написал еще несколько трактатов (из которых «Книга Система, или состояние мухамеданския религии» была в переводе с латинского издана в Петербурге в 1722 г.). В семье господствовал итальянский язык и новогреческий (жена Кантемира, Кассандра Кантакузен, происходила из греческой аристократической семьи); подрастающего Антиоха окружает космополитическая обстановка, в которой, однако, одолевает постепенно русское культурное начало, потому что Дмитрий быстро овладевает русским языком и воспитывает детей в духе преданности новому отечеству, благоговения перед Петром и благодарности ему за твердость, с которой царь в критические дни 1711 г. спас его и его друзей от неизбежной казни. Русскому языку талантливого мальчика учит литератор и переводчик Иван Ильинский, один из лучших воспитанников московской академии. Сам виршевой поэт, он передает Кантемиру традицию

- 177 -

и культуру силлабической поэзии. О степени влияния Ильинского говорит то обстоятельство, что первый печатный труд Кантемира, «Симфония на Псалтырь» (оконч. 1726, напеч. 1727), т. е. согласование по темам параллельных мест из псалмов, составлен в духе аналогичного популярно-богословского труда Ильинского «На четвероевангелие». Об Ильинском известен отзыв Третьяковского: «прямодушный, честный и добронравный муж, да и друг другам нелицемерный». Ильинский учит Кантемира и начаткам латыни; классическому же греческому языку (разговорный новогреческий был ему и без того известен, как язык семьи) учил его грек монах Кондоиди. Так, заложены были основы

литературно-филологического образования Кантемира. Одновременно лекции в Академии Наук вводят его в вопросы современной математики и физики.

Сближение с Феофаном было важнейшим событием в литературном развитии раннего Кантемира. Что он писал стихи и до этого, мы знаем по собственному его свидетельству в IV сатире (по второй редакции 1737 г.: в первой редакции 1731 г. этого места еще нет):

Довольно моих поют песней и девицы
Чистые и отроки, коих от денницы
До другой невидимо колет любви жало.
Шуток тех минулося время, и пристало
Уж мне горько каяться, что дни золотые
Так непрочнo стратил я, пиша песни тые.

Примечание автора к этому месту «сатирик сочинил многие песни, которые в России и теперь поются» не оставляет сомнения, что Кантемир указывает на точный факт, а не на фиктивную любовную поэзию, которую сатирик противопоставляет нынешнему своему литературному направлению.

Стихи эти до нас не дошли, вернее, не различимы среди множества образцов песенной поэзии 1720-х годов, сохранных в рукописных сборниках. Пренебрежительное отношение Кантемира к своей давней любовной поэзии говорит о том, что она принадлежит годам, от которых он теперь отделен не только большим временем, но и принципиально иным пониманием поэзии. Переворот в его литературных взглядах (около 1728—1729 гг.) совершился под громадным влиянием Феофана.

Изменилась, прежде всего, фактура стиха. Сам Феофан, прекрасно знавший итальянскую поэзию (тоже силлабическую), не слишком высоко ставил русское силлабическое стихотворство. Внимательное изучение даже того незначительного числа стихотворных его произведений, которые до нас дошли, не оставляет сомнения в том, что он старался повысить ритмический и звуковой уровень силлабического стиха. Целых 3 пьесы написаны октавами (1729, «Творцу сатиры...» — 3 октавы; 1731, «Анна милостей тезоименита» — 3 октавы; 1732, «На Ладожский канал» — 1 октава). Октавы написаны 11-сложным стихом (т. е. итальянским эндекасилабом), который Прокопович точно различает по случаям употребления от «героического» 13-сложного стиха. Заметна забота о рифме; у Полоцкого и великорусских его учеников рифма наглагольная (баше — имаше, писати — понимати, нападают — желают), либо падежная (мздами — слезами), либо, в лучшем случае, элементарная (слава — держава); иных почти нет. Прокопович, повидимому, первый понял художественное значение рифмы. В известном стихотворении «На день 25-го февраля», прославляющем поражение олигархов-верховников, из пяти пар рифм 4 не элементарны (ада —

- 178 -

рада, боже — ничто же, обманной — Анны, подлоги — ноги). Несравнимо; усилена ритмическая выразительность стиха:

Объемлет тебя Аполлин великий...
Твой всероссийский вертоград широкий.

Улучшено фразовое течение стихотворной речи. Все это вместе взятое, различимое даже для нас (несмотря на полную почти неразработанность истории виршевой поэзии), современниками было отчетливо замечено, в первую очередь Кантемиром, который приветствует в Феофане зачинателя и главу новой школы:

Сенька и Федька когда песнь пели,
Пред тобою

Как намазаны двери скрипели
Ветчиною...

(т. е.: стихи Сеньки и Федьки, в сравнении с твоими, скрипят, как двери, не смазанные салом). Эти слова Кантемира (1730) вызвали разнообразные толкования. Кто такие Сенька и Федька? Морозов предлагал видеть в них Стефана (Стеньку) Яворского и Федора Яновского, т. е. церковно-политических противников Феофана. Но Кантемир явно говорит о гармонии стиха, о фактуре его. Тихонравов и Пекарский, а за ними и новейшие исследователи, были ближе к истине, видя в «Федьке» Федора Поликарпова, а в «Сеньке» Симеона Полоцкого. Первое несомненно, но Симеон Полоцкий внес бы в мысль Кантемира хронологическое неравновесие. Семеном звался в миру и Сильвестр Медведев. Кантемир имеет в виду двух виднейших и Феофану непосредственно предшествовавших виршевых поэтов, следовательно, в Феофане видит (и совершенно справедливо) реформатора, от которого идет начало новой культуры стиха, более высокой, чем несовершенная поэтическая культура Медведева и его современников:

И ее [Анны] похвал ты певец славный
На сопели:
Так петь Амфион и Орфей давный
Не умели.

Сам Кантемир, более одаренный поэт, чем Феофан, быстро усвоил принципы, так сказать, неосиллабизма. В этом самом «Эпиде утешительном» (ответ той же строфой на стихотворение Феофана «Плачет пастушок») есть строфы, блестящие по выразительности и свободе стихотворной речи. Ученик сразу, уже в I сатире (1729), в развитии новых принципов стиля пошел дальше учителя. Но сближение с Феофаном означало для Кантемира нечто большее, чем усвоение новой (итальянизированной) техники силлабического стиха. Кантемир вошел в «ученую дружину», которой мы, к сожалению, так мало знаем. Это было до «Российского собрания» Третьяковского самое замечательное объединение ученых русских людей. Три его участника, сам Феофан, Кантемир и Татищев, стояли на высоте европейской учености своего времени; двое, — Феофан уже тогда, Кантемир позднее, — были первыми русскими деятелями культуры, известными Западу и оказавшими влияние на европейскую культуру. Еще важнее учености была политическая направленность общества. В тяжелый 1729 год Кантемир выступил от имени общества со своей первой сатирой, направленной не против «невежества» вообще, а против разнообразных

- 179 -

врагов «дружины». Феофан прямо об этом говорит в своем известном поздравлении автору:

И пером смелым мещи порок явный
На нелюбящих ученой дружины.

В следующем 1730 году, когда в связи с известными событиями, сопровождавшими воцарение Анны Ивановны, партия реформаторов могла праздновать относительную победу, Кантемир советует Феофану возобновить собрания общества:

Или милую воззвав дружину
Промеж дела,
Бражку и вино поднось по чину,
Не унылый.

Итак, это были заседания более или менее регулярные, которым единомыслящие ученые отдавали свой досуг («промеж дела»).

Кроме кн. Д. М. Голицына, которого с «дружиной» связывали только научные интересы, прочие участники общества были объединены политической позицией. Чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить одинаковое поведение и ведущую роль всех трех в восстановлении самодержавия Анны Ивановны: Феофан переписывается с Анной, когда она еще не выехала из Митавы, и заранее обещает ей содействие в предстоящей борьбе с верховниками. Татищев пишет антиолигархический контрпроект шляхетства и в решающий день 25 февраля читает первый адрес шляхетства, а Кантемир в тот же день читает знаменитый второй адрес, за которым немедленно последовало «раздранье кондиций». В официальной оде «На день 25 февраля» Феофан не упомянул о роли тех, кто помог свергнуть «ложный долг», т. е. об «ученой дружине», которая в феврале 1730 г. оказалась положительно во главе шляхетства.

Такое единообразие действий всех трех ее главных деятелей заставляет предполагать полное политическое единомыслие. «Ученая дружина» была, следовательно, политической организацией. А отсюда вытекает возможность представить себе размеры политико-идейного влияния Феофана на Кантемира. Он передал ему всю свою систему — не говорим «просвещенного абсолютизма», потому что принято этими словами обозначать нечто иное и позднейшее, — реформаторского абсолютизма, воспитанного идеями «Аргениды» Баркляя (1621) и практически Петровской эпохой и примером деятельности Петра. Страх перед «факциями», перед всякими попытками вельмож ограничить единую власть монарха (учение Баркляя), взгляд на Верховный тайный совет, как на «факцию» коварных вельмож, идеал полновластного монарха, ведущего страну к знанию, беспощадного к «факциям» и к суеверию, — все эти хорошо известные из проповедей и трактатов идеи Феофана становятся теперь основой политической системы Кантемира, наслоившись на традиционный монархизм семьи и тоже традиционное в ней уважение к Петру. Феофан, несомненно, повлиял на Кантемира и своим темпераментом политического бойца. Кантемир научился от него ненавидеть врага, презирать его, когда он силен, издеваться над побежденными, с той только разницей, что Феофан отдавал врагов и даже скромнейших их пособников пытке и палачу (впрочем, он знал, что с ним и его друзьями, в случае победы Дашкова или верховников или Яворского, поступили бы не лучше), а Кантемир ограничивался литературными насмешками, например, в басне III («Верблюд и лисица»): верблюд завидует козлу, у которого есть рога, чтобы защитить себя от собак; лисица дает ему коварный совет всунуть голову в нору, где будто бы все быки,

- 180 -

козлы и бараны достают свои рога; но в норе жил лев; он вцепился в голову верблюда, который едва вытащил ее, оставив льву свои уши —

Славолюбцы, вас поют, о вас басни дело;
Верблюжье нанял я для украсы тело.
Кто древо, как говорят, не по себе рубит,
Тот, большего не достав, малое погубит.

Намек (1731) на прошлогодние события здесь ясен и жесток. В басне I (тоже 1731 г.), передав известный рассказ Эзопа о скульпторе, который, изготовив восковую фигуру, поставил ее слишком близко к огню и погубил долгий труд, Кантемир (обращаясь, повидимому, к Феофану) советует тому, что совершив нечто, желает его утвердить на долгое время:

...все, что тому мешает,
Отдалять, и что вредит, искренить скоро;
Без того дело его не может быть спору.

Феофан так и делал, а Кантемир, которого многие представляют себе кабинетным латинистом и дилетантом просвещенной морали, ему вполне сочувствовал. Он был вполне человеком 1730 г., года шляхетской победы. Двадцати одного года он показал свои силы в политической борьбе. Гибели, неизбежно грозившей в случае победы олигархов, он заглянул в лицо. Надо только помнить, что с поражением «факции» он связывал интересы не только свои и даже не шляхетства (в этом смысле вполне шляхетским человеком был не он, а кн. Черкасский), а высшие для него интересы русской культуры и победоносного продолжения петровского дела.

Влиянием Феофана объясняется и замысел «Петриды». Вообще, основателем темы Петра в русской литературе был именно Феофан, давший (особенно в проповедях) первые образцы художественной трактовки таких тем, как героическая личность Петра, его дела, новая Россия, Петербург, возникший «из топи блат» и т. п. Кантемир написал одну лишь первую песнь задуманной поэмы; что предполагалось продолжение, видно из примечания к V сатире (в первой редакции 1731 г.): «сатирик наш по окончании своей четвертой сатиры намерен был, оставя сей стихов род, употребить время свое... на продолжение Петриды..., но уразумев чрез искус, что дело то не малого требует прилежания... отложил то до другого времени...» Но вот эта несомненность задуманного продолжения ставит нас перед неразрешимым вопросом: о чем могло говориться в продолжении, если в написанной 1-й песне рассказана уже смерть Петра? Вероятно, по известному образцу, идущему от «Одиссеи», автор собирался ввести деяния Петра методом эпизодического отступления, повести о прошлом. Но кому он вложил бы ее в уста? Самому Петру, например, в загробном мире? Как, однако, можно было бы согласить это с христианской мифологией? Как бы там ни было, план был явно неудачен: вся поэма была бы отнесена в отступление. Аналогичные примеры из истории классической поэмы (например во французской поэзии XVII в.) нам неизвестны, а гремевшая тогда во всей Европе новинка, «Генриада» Вольтера, указывала совсем другой план. Слабо и выполнение 1-й песни поэмы Кантемира. Олицетворение болезни, от которой умер Петр («запор мочи», как выражается поэт), в образе чудовища-демона Странгурио (что значит то же по-итальянски), граничит с абсурдом. Отметим описание Петербурга (стихи 177—206), первое в русской стихотворной поэзии, но близкое похвальным упоминаниям Петербурга в проповедях Феофана. «Петрида» была бы просто недоразумением, не заслуживающим упоминания, если бы она не подтверждала своей одновременностью (1730) первой группе сатир,

- 181 -

что Кантемир в своих литературных взглядах следует распространенному в эпоху классицизма делению поэзии на «похвалу» и «порицание», оду (либо равнозначную ей героическую поэму) и сатиру. Для ранне-Вольтеровской эпохи, это уже архаистическая литературная теория. Возможно, что ее усвоение тоже было связано со взглядами Феофана. Деление на два раздела (ода и сатира) совпадало частично с двумя полюсами политической мысли в эти годы; здесь противопоставлялись Петр, идеал политического деятеля, и люди реакции 1727—1730-х годов. «Петриде» противоположно соответствуют сатиры, в особенности первая, самая точная по адресату и теснее других связанная с политическими обстоятельствами своего времени.

Шум, вызванный первой сатирой Кантемира (1729), засвидетельствован стихотворными комплиментами Феофана («который ее везде с похвалами стихотворцу рассеял», т. е. широко распространил ее в списках). Шум был вызван остротой политического положения, в которое смело замешался молодой, страстный и умный поэт. Положение же для небольшой группы реформаторов было до крайности напряженное. Реакция началась

уже при Екатерине I, но Феофана защищал ореол первого литературного и богословского таланта прошлого царствования. Со вступлением на престол Петра II, сына царевича Алексея, автор «Правды воли монаршей» ежеминутно мог ждать гибели. Партия Яворского явилась в новой силе; восстановление патриаршества — ее почти открытая цель (в патриархи метит невежественный и нечестный епископ Георгий Дашков). Петербург демонстративно покинут двором. Староцерковная партия обвиняет Феофана в кальвинизме (в чем была доля правды: церковно-православное по букве и словам богословское учение Феофана, действительно, по духу склонялось к реформации. Недаром в этом обвинял Феофана славянофил Самарин). Грозное слово ересиарх все чаще произносится по адресу Феофана. Для партии Дашкова он символ ненавистного европеизма. В его лице чувствуют себя поэтому в опасности образованные иностранцы, работающие в России, все видные деятели Петровской эпохи и в особенности все серьезные друзья науки и реформы, как Татищев и Кантемир. Церковная партия одержала в конце 1728 г. крупную победу, добившись от Верховного тайного совета указа о напечатании «Камня веры» Стефана Яворского, запрещенного когда-то Петром; это было дерзким вызовом памяти и авторитету Петра, угрозой многочисленным лютеранам, жившим в России, и ударом по Феофану и его группе. В I сатире есть прямой намек на это событие. Церковный невежда говорит:

Казань [проповедь] писать — пользы нет ни малой меры:
Есть для исправления нравов Камень Веры.

Отсюда видно, как тесно связана сатира с событиями 1728—1729 гг. и кто те, вовсе не абстрактные «хулящие ученые», против которых она написана. Предисловие, в котором Кантемир просит читателей помнить, что он «никого партикулярно себе не представлял, когда писал характеры, в сей сатире содержащиеся, и осуждая злонравие, не примечал злонравного», надо понимать, как предосторожность. Тем паче предосторожностью является похвала Петру II, надежде муз, защите Аполлона, покровителю Парнаса: обычная в эпоху классицизма фикция. Прямой «партикулярностью», вопреки предисловию, является и блестящий портрет Дашкова (конечно, не названного по имени):

Епископом хочешь быть? уберися в рясу
.
Клобуком покрой голову, брюхо бороною,
- 182 -
Клюку пышно повели нести пред тобою.
Раздувшись в карете, когда сердце с гневу
Трещит, всех благословлять нудь праву и леву.
Под видом смущения зависть преглубока,
Да цветет в сердце к власти охота жестока.

Во второй редакции (1737) последние два стиха исчезли, лишнее доказательство их теснейшей связи с событиями 1729 г., когда охота к власти (патриаршей) и «зависть преглубока» (к Феофану) сделала Дашкова фигурой, вождем, надеждой целой партии. Вообще, первая редакция, единственно нас сейчас интересующая, многим отличается от второй (школьно-общеизвестной); литературно, вторая редакция, конечно, выше: в 1737 г. за границей Кантемир достиг полной зрелости как поэт; но введение четырех условных имен — Медор, Критон, Сильван, Лука, — которых в редакции 1729 г. не было, генерализация характеристик, устранение политических намеков, — все это существенно меняет весь характер сатиры, превращает в своего рода главу из Лабрюйера стихи, которые в 1729 г. были в сущности полупрокламацией, ходившей по рукам без

имени автора, вызывавшей восторг одних и опасную для Кантемира ненависть других, на что совершенно ясно намекает Феофан:

Да почто же было имя укрывати?
Знать, тебе страшны *сильных глупцов* нравы.
Плюнь на их *грозы*. Ты блажен трикраты
Но сие за верх твоей славы буди,
Что тебя злые ненавидят люди.

Возможно, что происхождение сатиры связано и с полемикой, которую «Камень веры» вызвал в Германии. В майской книге лейпцигских «Acta eruditorum» за 1729 г. появилась резкая рецензия на «Камень веры»; скоро вышла «Epistola apologetica» Буддея «другу, живущему в Москве» (т. е. Феофану, который переписывался с иенским богословом), доказывающая скрыто-католический характер богословия Яворского. Что Кантемир, ученик и друг немцев-академиков в Петербурге, следил за этой борьбой хотя бы по рецензиям в «Acta eruditorum», журнале всей ученой Европы того времени, нет сомнения. Быть может, именно превращение вопроса о «Камне веры» в своего рода европейский вопрос и резкие нападки на Яворского лютеранских богословов послужили для Кантемира толчком. Во всяком случае, протестантская окраска чувствуется в иронических стихах:

Расколы и ереси науки суть дети;
Больше врет, кому далось больше разумети;
В безбожие приходит, кто над книгой тает,
Говорит тот, кто и сам мало бога знает.

Это напоминает постоянные нападки протестантов на наукобоязнь католиков, на запрет читать Библию, а ведь как раз в эти месяцы богословская Германия старалась доказать, что дикая вражда Яворского к науке не свойственна православию и объясняется зависимостью его учения от католиков и Беллармина. Вообще, лютеранство, относительно терпимое к науке, должно было тогда привлекать Кантемира (тоже совпадение с Феофаном). Ведь все же наука (математическое естествознание) была до отъезда за границу в центре его занятий. Переводчик Фонтенеля (перевод сделан в следующем 1730 г.) виден уже в первой сатире:

- 183 -

К чему звезд течение и свойства счисляти,
Для одного в планете пятна ночь не спати,
Для любопытства только лишиться покою,
Ища, солнце ль движется или мы с землею?

В примечании кратко объяснено отличие систем Птолемея от Коперника. Впервые попало в русский стих упоминание химической лаборатории:

Учиться руд качеству — о, как глупо дело
Коптить в дыму очеса, жечь при огне тело!

и определение метафизики:

Силы духов и души разыскать предел,
несоовсем, впрочем, ясное.

Вообще, яснее всего и красноречивее поэт в апологии точных наук и в портретной галерее их врагов. Политический его идеал тоже ясен: государство, в котором «мудрости» было бы дано первое место и ученые были бы руководителями, т. е. идеализированное государство Петра. Влияние Академии Наук наслонилось на политическую систему «Аргениды». На практике: монарх, смело разрушающий гнезда невежества и суеверий и не допускающий реакционных «факций»; Академия, «умножающая науки»; Феофан, в реформационном духе управляющий церковью.

Никогда еще виршевая поэзия не высказывала таких серьезных мыслей. Еще более, чем по фактуре стиха, — по европеизму тем мы в праве называть литературное направление Феофана и Кантемира неосиллабикой.

Когда после успеха первой сатиры началось личное сближение обоих, влияние Феофана становится так глубоко, что иные портреты и рассуждения в первой группе сатир представляют изложение любимых тем Феофана, а иногда и простое переложение их в стихи. Сближения эти делались исследователями неоднократно; собрано достаточно примеров, чтобы убедиться в единообразной политической позиции и даже в сходстве методов литературной борьбы. Например портрет временщика из проповеди Феофана 1730 г. (в марте, т. е. уже после победы над верховниками и много позже падения Меншикова): «когда слух пройдет, что государь кому особенную свою являет любовь... все к тому на двор... и тот службы его исчисляет, которых не бывало, тот красоту тела описует, хотя прямая харя, тот выводит рода древность из-за тысячи лет, хотя бы был харчевник или пирожник...» Ср. в VI сатире:

...признавать, что родом
Моложе Владимира он одним лишь годом,
Хотя помнишь, как отец носил кафтан серый;
Кривую его жену называть Венерой.

И во II сатире:

Кто не все еще отер с грубых рук мозоли,
Кто не давно продавал в рядах мешок соли,
Кто глушил нас, «сальные — крича — ясно свечи
Горят», что с подовыми горшком истер плечи, —
Тот на высокоу степень вспрыгнувши блистает.

Не один раз повторяет Кантемир неоднократный портрет святоши, ханжи или церковного неуча, обжоры, пьяницы или неграмотного любителя рассуждений на богословские темы. Ближайшей русской традицией сатир Кантемира является портретная галерея в проповедях Феофана, где

- 184 -

Кантемир нашел образец сатирической трактовки русского бытового материала. В посвящении III сатиры Кантемир упоминает другие заслуги Феофана, покровительство и помощь, оказанные ему в тяжелые дни 1729 г.:

Обязан еси ты мя усты [устами] и рукою
Дал хвалу мне паче мер, *заступил немало.*

Это выражение политической близости и союза. Но начало самой сатиры поражает восторгом и благоговением автора перед энциклопедической эрудицией и величием ума Феофана:

Мудрый первосвященник, ему же Минерва
Откры вся сокровенна и все, что исперва
В твари бысть и днесь яже мир весь исполняют
Показа, изъяснив ти, отчего бывают,
Феофан, *ему же все известно, что знати*
Может человек и ум человекъ поняти.

Так писать может только ученик. А так как в этом же 1730 г. Кантемир переводит Фонтенеля и, следовательно, поглощен астрономией и точными науками, то мы в праве сделать вывод, что в Феофане он поражен объемом его небогословских знаний, стремлением к синтезу богословия, философии и новых наук о природе; синтез был мнимый, Феофан эклектически объединял традицию христианской мифологии, Аристотелеву метафизику, абсолютистскую политическую теорию и небесную механику Ньютона в видимость цельной системы знания, но несомненным эклектиком был в философии и Кантемир; эклектизм был вообще типичен для ученой Европы переходной эпохи между Лейбницем и революционными просветителями.

2

1 января 1732 г. Кантемир выехал за границу и 30 марта прибыл в Лондон, куда он назначен был резидентом. Долгое время биографы смотрели на это назначение, как на почетную награду за руководящее участие в восстановлении самодержавия Анны Ивановны и даже как на долю, которая досталась Кантемиру в дележе общей политической добычи победившей партии. Внимательный анализ фактов показал, что это не так. Не далее как в прошлом 1731 г. Кантемиру не удалось получить пост президента Академии Наук, хотя не было тогда в России человека, более подходящего к этой должности. Тяжебное дело о наследстве, вопреки справедливости, решено не в его пользу. Небывалые по смелости на Руси сатиры создали ему множество врагов. Новое правительство постепенно отстраняет всех участников переворота, которым оно более всего было обязано. Победа Анны оказалась вовсе не победой партии цивилизации. Назначение Кантемира посланником в свете всех этих фактов получает саой действительный смысл, смысл почетной ссылки. Так, повидимому, понимали дело и современники. Еще Новиков в «Трутне» 1769 г. сохранил память об этом мнении современников; иронически советуя себе же не вступать на путь сатиры, он говорит, что и посильнее его были на Руси сатирики, «но и им рога обломали»; кого, кроме Кантемира, он может иметь в виду? Какие, кроме Кантемира, были до него сатирики? В Лондон удалили неудобного человека. Кантемир побежден, деятельность его насильственно изменена и приобретает теперь другой характер.

Дипломатом Кантемир оказался превосходным. Дипломатическая его деятельность, еще ждущая своего серьезного историка, нас здесь

- 185 -

интересовать не может. Она так тесно связана со сложной историей международных отношений 1732—1744 гг., что даже краткий ее анализ вышел бы за пределы этой главы. Заметим только, что Кантемир сыграл большую роль в русско-английских и русско-французских отношениях своего времени. Западные государства боялись России, неожиданное и недавнее появление которой на европейской арене меняло привычную европейскую шахматную доску; к устранению России из игры направлены были все их усилия. Кантемир был в Лондоне и в Париже живым доказательством того, что европеизм новой России — не случайный факт. Европейская образованность, в которой он был не только на уровне, но гораздо выше своих коллег по дипломатическому корпусу, сочетание дипломатического умения с полной честностью и прямотушием, общий импонирующий склад его натуры, его серьезность, не чуждавшаяся, однако, неотделимой тогда от роли дипломата светскости, — все это сыграло немалую роль в «признании» новой России. Кантемир за границей был не только ее дипломатическим, но и, так сказать, культурным

представителем. Удачно вышел он и из целого ряда политических затруднений. В 1741 г., во время русско-шведской войны, надо было умело парализовать антирусские интриги парижского двора. При Анне Леопольдовне Франция тайно (через Шетарди) поддерживала Елизавету, следовательно, хитрила с русским послом; а после переворота, который привел не к замене немецкой власти французской (на что надеялись в Париже), а к подъему национального чувства, обманувшаяся французская дипломатия заняла враждебную к новому правительству позицию, например медлила с признанием императорского титула Елизаветы. Кантемиру приходилось настаивать, подавать протесты, но в то же время не рвать с парижским двором, а добиться своего сочетанием настойчивости с изысканной корректностью. Во всех таких делах много значил Личный авторитет, завоеванный послом. Трудно было ладить и со своим петербургским двором, который, не понимая различия в политическом строе, требовал от Кантемира, чтобы он добился от английского правительства ареста итальянца Локателли за напечатанный им в Париже неблагоприятный для русского правительства памфлет «Lettres moscovites». Кантемиру приходилось почтительно объяснять, что это невозможно, «понеже вольность здешнего народа так далеко простирается, что против своего собственного государя без всякой опасности повседневно печатают» (ноябрь 1735 г.); но в Петербурге того не понимали. Еще труднее было положение Кантемира в связи с петербургскими «переменами». После смерти Анны, Бирон известил его о своем регентстве; надо было ответить поздравлением; понимая, что регентство Бирона не может быть продолжительным, Кантемир послал поздравление не ему, а через одного друга, предупредив его о необходимости подождать с передачей. Это спасло Кантемира от гибели после ареста Бирона.

Из этого эпизода не следует, что Кантемир был политически беспринципным человеком. У него была своя принципиальность, только она касалась не таких вопросов, как Бирон или Миних, Анна Леопольдовна или Елизавета, а общего, главного, основного для него политического вопроса: политика европеизации, т. е. продолжение Петрова дела, или победа церковной и вельможеской реакции. Что здесь он был достаточно принципиален, доказывается его ролью в 1730 г.

В отношении литературном, пребывание Кантемира в Лондоне привело совсем не к тем последствиям, какие можно было ожидать. Казалось бы, что в Лондоне знакомство с языком, литературой, интеллигенцией страны приведет, например, к усвоению тонической системы, что было бы естественно: Кантемир читает Драйдена и Попа, удостоверяется в

- 186 -

превосходстве тоники и делает первые опыты в перенесении ее на русский язык. Ведь как раз в это время так именно поступает Ломоносов, если не под влиянием, то в несомненном отношении к германскому тоническому стихосложению. Между тем, происходит иное: Кантемир в Лондоне утверждает в мысли о правильности силлабической системы и даже трактат Тредиаковского не заставил его изменить взгляды на этот вопрос. Далее, тоже вопреки ожиданию и естественному, казалось бы, ходу вещей, Кантемир в Лондоне не знакомится с деятелями английской культуры, и его английские связи ограничиваются служебно-дипломатическими знакомствами, он не обнаруживает далее никакого интереса к многочисленным и высококультурным французским беглецам-гугенотам (в противоположность Вольтеру, который в Лондоне именно с ними установил сразу прочные отношения) и, парадоксальным образом, окружает себя итальянцами, дипломатами, как Цамбони, певцами, музыкантами и поэтами, как Ролли (ныне давно забытый поздний эпигон итальянского классицизма). Произведенные по поручению акад. Л. Н. Майкова поиски в архиве Цамбони (в Бодлеевой библиотеке) обнаружили много писем Кантемира; они пролили свет на тот итальянский круг, среди которого протекала внеслужебная жизнь его в Лондоне. Документы подтвердили указание аббата Гуаско,

первого биографа Кантемира, на преобладание итальянцев среди его лондонских и парижских друзей.

Знакомое уже нам неравновесие между литературными и научными взглядами Кантемира сказалось в этот период с особой силой. В научных вопросах не у итальянцев он будет учиться; ему прекрасно известна научная отсталость Италии XVIII в., известны успехи английской физики, астрономии, математики и философии; он следит за работами Лондонского королевского общества, примыкает к ньютонианству и к опытной философии Локка. Общественные его идеи здесь, в Англии, тем более на уровне идей моральной журналистики, что, как мы увидим ниже, еще в России его первые сатиры, формально примыкая к Буало, на деле были русской параллелью к духу английского моралистического просветительства. Но взгляды его и литературные вкусы никак не современны поколению Свифта, Дефо и Попа, а принадлежат архаистической итальянской стадии развития европейского классицизма, и здесь в Лондоне, под влиянием итальянского окружения, приобретают подчеркнуто итальянизированный для 30-х годов XVIII в. особо архаистический характер. Кантемир совершенствуется в итальянском языке (которым он владел еще в детстве), изучает с помощью Ролли поэтов позднего итальянского Возрождения (Ариосто и Тассо), к которым явно относится иначе, чем недавний его литературный учитель Буало, для которого «поддельный блеск Тассо» ничего не стоил в сравнении с «золотом Вергилия». Равнодушен Кантемир и к новой немецкой музыке (хотя Гендель действовал в том же Лондоне как раз в годы пребывания там Кантемира); его музыкальные любимцы — итальянские певцы, певицы и инструменталисты, которые тогда были рассеяны по всем крупным городам Европы; между тем, придворно-аристократический стиль итальянской музыки был уже в 30-е годы явлением реакционным. С итальянскими друзьями в Лондоне, в большинстве дипломатами и резидентами мелких итальянских дворов, по культуре блестящими и поверхностными дилетантами, запоздалыми эпигонами старой, когда-то великой литературы XVI в., Кантемира связывает не только личная дружба, но и известное единомыслие в эстетических вопросах.

Но важнее всего влияние этого запоздалого итальянизма на позицию, которую Кантемир занял в острейшем тогда вопросе о метрической реформе. Трактат Третьяковского, излагавший (1735) новую систему

- 187 -

тонического стихосложения, был тогда же прочитан Кантемиром в Лондоне, но не только не переубедил его, а, напротив, вызвал в нем отпор, заставил проверить свои взгляды и еще более в них утвердиться. Кантемир остается в теории и на практике верен силлабической системе. Чем это объяснить? Чем объяснить также и то, что Кантемир не был переубежден даже первыми одами Ломоносова, гениальным образцом звучного неотразимо убедительного 4-стопного ямба? Уже Третьяковский над этим задумывался и объяснял странное упорство Кантемира «чужестранным» его происхождением (в трактате «О древнем, среднем и новом стихотворении российском» 1755 г.) — ошибочное суждение, связанное с общим взглядом Третьяковского на силлабические стихи, как на «польские строчки». Но московские ученики Симеона Полоцкого (Медведев, Барсов, Поликарпов) да и сам Третьяковский, пятнадцать лет писавший силлабические стихи, были русскими по происхождению; очевидно, дело не в «чужестранном» происхождении Кантемира, тем более, что из всех силлабиков он был без спора самым одаренным, богатым и национальным и в отношении языка. Вернее здесь сыграл роль отрыв от русской обстановки, от петербургских споров вокруг вопроса о стихосложении, от общего петербургским литераторам своего рода потока, увлекавшего умы и вкусы в сторону искомого тонического стиха. Отрыв был, с другой стороны, поддержан «итальянизмом» кантемировой эстетики за границей. Итальянский стих принадлежит силлабической системе. Особая для Кантемира в эти годы значительность именно итальянской поэзии склоняла его признавать превосходство и итальянского стихосложения. Впрочем,

косвенному влиянию процесса тонизации русского стиха подвергся и он; в старый 13-сложный силлабический стих он вводит обязательную постоянную цезуру после 7-го слова; в «Письме Харитона Макентина» (анаграмма его имени и фамилии), приложенном к переводу «Посланий» Горация и являющемся целым трактатом по стихосложению, правило обязательной цезуры категорически высказано в § 28; соответственно этому все заграничные 13-сложные стихи Кантемира без исключения цезурованы после 7-го слога. Феофан когда-то мог писать:

Зрем же, что и Свей дерзкий силою своею

и сам Кантемир в 1731 г.:

Всего много, и можно б жить ему в покое.

Теперь этот же стих звучал бы примерно так:

Всего много, и пора жить ему в покое.

При заграничной переделке первых пяти сатир сплошь проведен этот новый принцип. А так как он представляет известный шаг в направлении тонического упорядочения стиха, а, с другой стороны, реформа стиха Третьяковского, как мы увидим в следующей главе, была, на деле, лишь тонизацией того же старого силлабического тринадцатисложника, то, несмотря на резкое отличие теоретических взглядов Третьяковского в трактате 1735 г. и Кантемира в его контртрактате 1742 г., действительная стихотворная их практика не так уж была различна. Стихи того и другого во вторую половину 1730-х годов были тонизированным в разной степени заключением полуторавековой истории русского силлабического стихосложения. Действительным создателем тонического стиха был Ломоносов.

3

В истории русской повествовательной прозы Кантемир не составляет даты. Датой будет «Езда в остров Любви» Третьяковского (1730). Иное

- 188 -

дело — вклад Кантемира в историю русского научного языка. Перевод Фонтенелевых «Разговоров о множестве миров» (1730, напеч. 1740) так широко читался (три издания в XVIII в.!), что созданная Кантемиром астрофизическая и вообще научная терминология вошла в оборот и в ряде случаев прочно сохранилась, например *начало* (в смысле *principe*), *понятие* (в смысле идеи), *средоточие*, *наблюдение*, *плотность*, *вихри* (в изложении известной гипотезы Декарта: *tourbillons*), *предрассуждение* (создано методом кальки: *préjugé*) и др. Отпал ряд неудачных (вернее, ненужных) кальк: *естественница* и *преестественница* (физика и метафизика), *звездозаконие* (астрономия). Гениальной безошибочностью Ломоносова в создании научных терминов Кантемир не обладал, тем более 22 лет отроду (1730).

Более совершенным языком, чем перевод Фонтенеля, написаны заграничные труды Кантемира по литературе, т. е. примечания к своим же сатирам, к Анакреону, к сатирам Горация и «Письмо Харитона Макентина». В примечаниях это не так заметно сразу, потому что невольно раздражают современного читателя пояснения, которые Кантемир дает простейшим словам культурно-обиходного словаря и простейшим именам (Ювенал, Зевс, Гектор, семь мудрецов, Парнас и т. п.). Но Кантемир знал, что эта элементарно-просветительская работа необходима; уже в примечаниях к «Разговорам о множестве миров» он пояснял такие слова, как климат, карта, планета; ему приходилось не брезговать черной работой по объяснению слов литературного и исторического обихода: это была петровская черта, для памяти Кантемира почетная. Но, конечно, выполнение черновой работы понижает энергию и выразительность языка. Поэтому было бы несправедливо цитировать отрывки из популяризаторских примечаний. Надо обратиться к

письму Х. Макентина, чтобы убедиться, как мастерски умеет Кантемир сжато в пределах параграфа излагать аргументы для защиты своих любимых научных (хотя бы и ошибочных) идей. «Как я не чаю, что стихотворство русское одно и то же с французским, так не могу согласиться, что такие без рифм стихи некрасивы на русском языке, для того, что у французов не в обыкновении».

В последнем звене фразы нашлось место и для тонкой, едва различимой иронической ноты. Образцово написан § 22, озаглавленный «Перенос позволен». Указав, что древние, а из новых итальянцы, испанцы и англичане считают его не пороком, а украшением стиха, Кантемир продолжает: «перенос не мешает чувствовать ударение рифмы доброму чтецу [читателю], а весьма он нужен в сатирах, комедиях, трагедиях и в баснях, чтобы речь могла приближаться к простому разговору. К тому же без такого переноса долгое сочинение на рифмах становится уху докучным частым рифмы повторением, от которого напоследок происходит не знаю какая неприятная монотония, как то французы своим стихотворцам сами обличают». Все три аргумента (из которых, кстати, первые два безусловно, а третий относительно верен) изложены в правильном порядке: решающий аргумент занимает среднее место, первый вводит в главную мысль, третий ее дополняет. Вообще, надо сказать, весь трактат о стихосложении написан несравненно лучшим научным языком, чем известный трактат Третьяковского 1735 г.

Переходим к вопросу о стихотворном языке Кантемира. Со стороны словарной сразу выделяется одна его особенность: широкое допущение просторечия; это тем более странно, что принято связывать Кантемира с римскими сатириками и Буало. Между тем от первой сатиры 1729 г. до последней, восьмой, 1739 г. Кантемир прибегает к просторечию, не боясь крайних случаев, граничащих с «вулгарностью».

- 189 -

Клобуком покрой главу, *брюхо* бороною

Больше врет, кому *далось* больше разумети.

Пред Егором Вергилий *двух денег* не стоит.

А наука, говорит, *мешку не прибыльток*.

Когда лучше *свежины* влюбит умный стерву
Резон тому? подписать имя свое знает.

(I, 1729.)

Как под *брюхатым* дьяком однокольные дроги.

С чего он, а с чего мы-то *навозна тина*.

Подъячий же силится и с голого *драти*.

(III, 1730.)

Не ходил бы *в серяке*, но в платье богатом.

Друзья в печали; *нутко* сел в карты играти.

Без зубов и с сединой, с морозу *колеет*.

(V, 1731.)

Не *прибьешь их палкою* к соленому мясу.

Румяный, *трожды рыгнув*, Лука подпекает.

Клобуком покрой главу, *брюхо* бороною.

(I, 1737.)

Или *торчат* при дворе с утра до полночи.

И гнусны *чирьи*, что весь нос его объели.

(VI, 1738.)

Потея, сжимаяся и немее *клуши*.

Чужие *щиплет* дела, о всем дерзко судит.

(VIII, 1739.)

Из этого списка примеров, число которых можно увеличить в десятки раз, видно, что к просторечию Кантемир прибегает совершенно равномерно и в первой группе сатир (1729—1731) и во второй (заграничной) и при заграничной переработке ранних сатир; литературно-речевая установка Кантемира осталась в этом отношении неизменной на протяжении десяти лет. Неизменным осталось и введение просторечных или фамильярных поговорок и выражений; в сатирах они попадают на каждом шагу: лепить горох в стену; скалить зубы; пялить бровь; от доски до доски; тру лоб; чуть помазал губы в латину; куда-де хорошо; а сам жирей на мякине; то ль не житье было; щей горшок, да сам большой хозяин в доме; а теперь чорт, не житье, — и многие десятки им подобных. По сатирам Кантемира можно составить своего рода лексикон ходячих разговорных выражений того времени. Все просторечие ближайших после-петровых лет живым встает перед нами у Кантемира. Чтобы понять литературный смысл этой особенности, надо, прежде всего, ввести одно важное

- 190 -

ограничение: язык Кантемира кажется нам сейчас более просторечным, чем он был им в свою эпоху. Дело в том, что между Кантемиром и нами лежит долгий процесс влияния литературного языка на разговорный (процесс, особенно усилившийся в 1840-е годы и особенно после 1861 г.); в результате, разговорный язык значительно приблизился к литературному (а литературный в XIX в. принял в себя ряд элементов разговорного). Поэтому нам сейчас «трожды [или даже трижды] рыгнув» кажется вульгаризмом, а при Кантемире это было обыкновенным разговорным выражением. Стихи из так называемой IX сатиры (1731):

Так то-то уже книга, что аж уши вянут.

Все ж то се еще сошник [мужик] плеть безмозгло смеет.

Плетет тут без рассмотру и без стыда враки.

Рука с пером от жалю [от жалости] как курица бродит.

кажутся нам намеренно грубыми, особо и резко фамильярными, а между тем для Кантемира они были простым воспроизведением ходячей разговорной речи, а вовсе не умышленным скоплением вульгаризмов.

Как ни важна эта оговорка, остается неоспоримым факт: вся бытовая часть сатир Кантемира написана почти целиком на просторечии, случай в своем роде единственный в истории русской сатиры XVIII в.; и в сатирах Сумарокова есть, конечно, просторечие, но реже, умереннее и, так сказать, иного речевого тона. О Буало и говорить нечего. Даже в VI сатире (1660), известной чисто бытовой сатире на неудобства парижской жизни, самая резко-бытовая часть не идет в сравнение с просторечием у Кантемира: «здесь каменщики загородили мне путь... тут кровельщики, взобравшись на крышу, сбрасывают целый поток черепиц, а вот бревно, вздрагивая поперек повозки, издали уже грозит сбегающей

толпе». Без дальнейших примеров ясно, что Буало возводит бытовую сцену к алгебраическому обобщению всех возможных подобных сцен и, соответственно этому, явно избегает реальных разговорных слов своего времени: *ardoise, tuiles, poutre* — это не просторечие.

Объяснить происхождение просторечия у Кантемира можно только на русской литературной почве. Здесь была своя традиция. В некоторой степени она намечена в тех виршах «Вертограда» Симеона Полоцкого (1678), которые приближаются к типу сатиры, вернее, сатирического портрета. Вот, например, злая жена встречает мужа:

Из торжища грядуща гневно вопрошает:
«Что принесл еси?» Аще ни, то люте лает.

Но, конечно, и это не просторечие, а сцена, допускающая просторечие. Оно осталось неосуществленным хотя бы уже потому, что Симеон пишет не на русском, а на более или менее беспримесном церковно-славянском языке.

Настоящую традицию языка Кантемира надо искать в русской проповеди, особенно в проповедях Феофана. Продолжая, повидимому, давнюю традицию юго-западной проповеди XVII в., проповедники Петровской эпохи вводили очень часто слова и обороты живой разговорной речи. Даже у консервативного Стефана Яворского в проповеди «Колесница торжественная» изображение четвертого аллегорического колеса (народ) написано просторечием: «скрипливое то колесо, никогда же тихо не умеет ходить, всегда скрипит, всегда ропщет. Наложить какое тяжело, то и станет

- 191 -

скрипеть. Слушай же мое скрипливое колесо то...» и т. д. У Феофана же очень часто живая устная речь прорывает общий фон славянизированного условного языка. Например в проповеди 1718 г.: «пастырь ли духовный еси... испраздний суеверие, отметай бабья басни...» В этой же проповеди есть дальше остроумное место о мнимых святых, которые «видения сказуют, *аки бы шпионами к богу ходили*, притворные повести, то есть *бабьи песни бают*». Из «Духовного регламента» (1720): «ибо слуги архиерейские обычно бывают *лакомые скотины*, и где видят власть своего владыки, там с великою гордостью и бесстыдием, *как татаре*, на похищение устремляются». В удачном портрете льстеца-карьериста (из проповеди 1730 г.), приводившемся выше, мы видели резкий пример просторечия: «тот красоту тела описует, *хотя прямая харя...*», — пример, особенно важный для нас, так как литературная связь портретов карьериста у Феофана и у Кантемира несомненна.

Феофан вводит элементы просторечия только в сатирические портреты (невежд, обжор, пьяниц, льстецов и т. д.), которые, естественно, в церковной проповеди слишком частыми быть не могут; поэтому довольно редки у него и соответствующие фамильярные слова. У Кантемира с преобладанием портрета поднимается к преобладанию и просторечие. Получается значительная количественная разница, но принцип отбора слов у обоих писателей совершенно тот же: к портрету стягивается живая реальная разговорная речь. Как ни развил Кантемир применение метода, но самый метод, норма, речевой принцип усвоены им от русской проповеднической традиции, в особенности от Феофана. Как вся его сатира (особенно ранняя) была своего рода секуляризацией проповедей Феофана, выделением к самостоятельности и развитием сатирико-политических элементов, которые у Феофана были, в сущности, лишь фиктивно связаны с жанром проповеди, так и язык этих сатир представляет блестящее развитие и полную литературную реализацию той нормы, которая у Феофана могла быть осуществлена лишь частично и отдельными прорывами. Кантемир и языком своим закономерно завершает давно наметившийся процесс; но все действительные завершения одновременно начинают новое; язык Кантемира обращен вперед; он во многом предугадывает и подготавливает тот склад литературной речи, который в качестве «забавного слога» станет одним из важнейших

явлений русской литературы XVIII в. (Державин). Впрочем, и термин этот Кантемиру уже известен:

Я той, иже некогда *забавными слоги* —

говорит он о самом начале «Петриды» (1730). Очевидно, широкое допущение просторечия оправдано в его литературном сознании известной уже нам теорией деления поэзии (ода, поэма, трагедия и сатира, басня, комедия). Теория эта была в эпоху классицизма общеевропейской. Поэтому между народностью Кантемира и классичностью его эстетики в его собственном представлении не было противоречия. Не было его и объективно.

4

Переходя к анализу сатир Кантемира, заметим, прежде всего, что они делятся на две неравные группы: 5 сатир, написанных до отъезда за границу (1729—1731) и потом переработанных в Лондоне (1736—1737), и 3 сатиры (VI—VIII), задуманные и написанные в Париже (1738—1739). Так называемая IX сатира, известная только по одному неисправному списку, не вошедшая ни в одно из старых изданий и опубликованная Тихонравовым только в 1858 г., названа так условно; по темам (особо близким к Феофановым), по метру, языку и стилю ее, несомненно,

- 192 -

надо отнести к первой группе, датировать 1731 г. и называть ее, собственно, следовало бы VI сатирой (чтобы не вносить путаницы и не разойтись с Ефремовским изданием, мы будем держаться, однако, традиционной нумерации). Переработать эту сатиру (одну из самых значительных и содержательных) Кантемир за границей не успел. Обе группы различаются и по своему типу. Это заметил уже Жуковский в своей известной статье «О сатире и сатирах Кантемира» (1809): «сатиры Кантемировы можно разделить на два класса: на философические и живописные; в одних, и именно в VI, VII [т. е. как раз в парижских] сатирик представляется нам философом; а в других искусным живописцем людей порочных». Однако это различие не надо преувеличивать; будь оно решающим, Кантемир в Лондоне не стал бы возвращаться к старым сатирам и не умел бы переработать их так удачно; не надо также забывать, что как раз последняя парижская сатира (VIII) «На бесстыдную нахальчивость» принадлежит частично к «живописному» классу. Мы в праве поэтому рассматривать все сатиры как более или менее единое целое, с оговорками для сатиры VI (морально-философской) и VII (посвященной вопросам «правильного» воспитания).

Построение сатир Кантемира обыкновенно единообразно. После вступления (представляющего, чаще всего, обращение, например, к уму своему, к Феофану, к Музе, к солнцу) Кантемир сразу переходит к живым примерам, которые, следуя один за другим, составляют галерею литературных портретов, связанных, почти без переходов, простым порядком звеньев. Отсюда типичные для Кантемира двойные заглавия; первое определяет обращение (вступление, дающее заодно рамку всей сатире); второе относится к признаку, по которому подобраны сатирические портреты. Так, например: «К уму своему (на хулящих учение)»; «К архиепископу Новгородскому (о различии страстей человеческих)»; «К солнцу (на состояние света сего)»; «К князю Н. Ю. Трубецкому (о воспитании)», и т. д. План этот обычно выдерживается так, что формальное значение обращения (и адресата, живого, как Феофан, или абстрактного, как ум или солнце) бросается в глаза; а в более слабых по построению сатирах обращение низводится до степени простого литературного предлога. Вот, например, ход мысли в IX сатире (1731): солнце, хотя ты величественно и недаром считалось у древних божеством, но ты было бы еще божественнее, если бы обладало способностью познания земных дел; вот если бы тогда ты, солнце, захотело узнать, как мы, люди, чтим бога, ты увидело бы бездну суеверий, — и далее, за этим кратким вступлением, занимающим всего 10 стихов, сразу идет портрет суеверного раскольника. Ясно, что обращение к солнцу здесь — даже не вступление, а формальное выполнение правила, которое Кантемир считает обязательным.

Поэтому солнце немедленно забыто, что приводит к любопытной оплошности: невежественный раскольник ссылается на «книгу», в которой все объяснено, и как земля стоит на четырех китах и

Сколько солнце всякий день миллионов (верст) ходит.

Автор забыл, что солнце является условным адресатом всей сатиры, и, следовательно, надо было здесь сказать не «солнце», а «ты». Только в самом конце Кантемир, опять-таки формально, вспоминает рамку своего построения и кончает удивлением долготерпению солнца, которое не устало сиять столь превратному миру.

Не в столь прозрачной форме слабость связи между обращением, мотивирующим изображение пороков, и самим портретным их изображением заметна даже в такой классической сатире, как третья. Во

- 193 -

вступлении задается Феофану вопрос: чем объяснить бесконечное разнообразие и несходство человеческих страстей? За сим немедленно идет первый портрет (скупого Хрисиппа). Очевидно, вопрос философского порядка поставлен был во вступлении не философски, а формально-композиционно. Действительно, ответа на вопрос, откуда происходит разнообразие страстей, Кантемир не дает и не собирался давать. Содержанием сатиры будет не ответ на этот (фиктивный) вопрос, а умная, талантливо написанная цепь портретов разных людей, одержимых разными страстями.

Несогласованность рамок построения и портретно-сатирического содержания выражает двойственное литературное происхождение сатир Кантемира. Построению он учился у Буало. Обращение к своему уму (I) явно восходит к IX сатире Буало «A son esprit» (1667), обращение к Феофану (III) — ко II сатире Буало «A Molière» (1664):

Дивный первосвященник, которому...

Rare et fameux esprit dont...

Между тем портреты обжор, невежд, скупых, врагов науки, щеголей и т. д. связаны с героями Буало лишь самой общей связью; они принадлежат русской жизни, а литературно продолжают сатирическую галерею в проповедях Феофана. Рамки французской классической сатиры и ее композиционные приемы связаны с этими героями связью исторически-случайной. Около 1730 г. ни один европейский сатирик не мог обойти мощного влияния Буало. Замечательно как раз обратное: как это влияние на Кантемира, в сущности, осталось незначительно.

Помимо даже самих героев, у Кантемира совершенно русских, самый метод портретной галереи, у Кантемира основной и почти единственный, для Буало как раз мало типичен; более или менее последовательно проведен он только в IV сатире (1664): un pédant, ... d'autre part un galant, un bigot, un libertin — d'ailleurs... и т. д., прочие представляют скорее цепь рассуждений, а сатира III (описание нелепого обеда у неумелого хозяина) — сатирическую новеллу (у Кантемира соответствия нет).

Две сатиры II («Филарет и Евгений», 1729 и 1737) и V (во второй редакции 1736 «Сатир и Периерг») написаны диалогически; образцом послужили диалоги, рассыпанные во всех почти сатирах Буало и в особенности диалогическое начало III сатиры:

Что так смутен, дружок мой...

D'où vous vient aujourd'hui cet air sombre et sévère?

Герои портретов Кантемира чаще всего носят имена. В первой редакции I сатиры (1729) имен нет; Критон, Сильван, Лука и Медор появляются только во второй редакции (1737). Изменены имена при переработке III сатиры: скупой Тиций шолучил имя Хрисиппа, докучный болтун Грунный стал Лонгином и т. д. Определенной мысли в этом изменении не уловить; сам Кантемир ошибся и в примечании Лонгина снова называет Груннием. Не уловить точной мысли и в самом типе имен. Почему одни герои названы (в манере Лабрюйера) Хрисипп, Клеарх, Менандр, Лонгин, Гликон, Клитес, Ирган, Созим, Невий, Зоил, а двое (в той же III сатире) Варлам и Фока. Имя Варлам, быть может, объясняется (как думает С. Соловьев) прямым намеком на друга Дашкова, Троицкого архимандрита

Варлаама, но почему получил русское имя Фока, герой типичного в римской сатире портрета «тщеславного» (le vaniteux)? Итак, русское имя нисколько не ручается за особо русский или специально местный

- 194 -

характер героев, и обратно: в довольно условном портрете кокетки (скорее парижского, чем московского типа) героиня названа Настей:

Настя румяна, бела своими трудами:

Красота ее в ларце лежит за ключами.

В греко-римских именах тоже большей частью выбор произволен (т. е. этимология имени не включает намека на характер); исключения есть, но они редки (Хрисипп, от слова означающего золото, — действительно скуп, Зоил — действительно завистник; впрочем, здесь намек извлекается не из этимологии имени, а из школьных сведений по античной литературе); но почему надменный наглец назван Иркано́м, переносчик вестей и сплетен Менандром? Имя Сильвана носит в I сатире невежественный враг науки, а в III сатире богач-соблазнитель. Очевидно, что Кантемир следует здесь общеклассическому литературному обычаю (Мольер, Буало, Лабрюйер): нереальность и этимологическая нейтральность имени возводит героя к роли представителя целой категории людей. Этому нисколько не противоречит не только реальный характер созданных Кантемиром героев, но и прямое, часто документальное их значение. Историк Соловьев ссылается на некоторые сатиры Кантемира как на документы для изучения эпохи.

Источники сатир Кантемира серьезно еще не изучены. Собственно говоря, мы знаем только то, что указал в примечаниях сам Кантемир и расширенно повторил с привлечением нескольких новых параллельных мест Галахов (1843). Все те же имена — Гораций, Ювенал и Буало — неизбежно повторяются, как только речь заходит об образцах или источниках сатир Кантемира. Но Буало умер в 1714 г., за 15 лет до I сатиры. Влияние его, конечно, было значительным, но это было влияние особого рода, скорее следование непреложно-законодательному образцу. Неужели, однако, Кантемир не знал европейской сатиры более новой, современной ему? Исследователи не поставили этого вопроса, потому что были гипнотизированы жанром и именем жанра: стихотворная сатира в несколько сот стихов; исходя из этого признака, неизбежно приходили к Буало. Но во французской литературе XVII в. сатиры Буало были одним из проявлений широкой волны сатирического морализма. Рядом с Буало стояли, не говоря уже о Мольере и Лафонтене, моралисты (Ларошфуко), характерологи (Лабрюйер), церковные проповедники, мемуаристы. Весь этот свод исправительно-морализирующей литературы вместе с разложением монархии Людовика XIV медленно развивается в направлении все большей смелости политической мысли и глубины анализа. «Характеры или нравы нашего века» Лабрюйера (1687) оказывают громадное влияние на английскую литературу, где из сложного воздействия пуританской традиции, нового журнализма и портретного метода Лабрюйера рождается моральная журналистика («Зритель», 1709). Европейский успех журналов Стиля и Адиссона и их многочисленных континентальных подражаний общеизвестен.

Как раз на эту эпоху в развитии критико-сатирической литературы на Западе, а вовсе не на эпоху Буало, падает первая группа сатир Кантемира (1729—1731). Маловероятно, чтобы просвещеннейший поэт-новатор, в 1729 г. настроенный особенно агрессивно, не знал и не учел в своей работе всех этих новых явлений, которые слагали тогдашнюю европейскую литературную обстановку. Впрочем, против этого говорят и факты. Во II сатире (в первой редакции 1729 г.) за предисловием в списках следует эпитафия из Лабрюйера по-французски, тут же переведенный: «если добро есть быть благородным, не меньше есть быть таким, чтоб

- 195 -

никто не спрашивал, благороден ли ты». В III сатире портрет Иркана, — невоспитанного наглеца, который, входя в залу,

Распихнет всех, как корабль плывущ сечет воду,
за столом произносит все тосты и ведет себя в обществе так, как будто
...была та фарфорна глина —

С чего он, а с чего мы — навозная тина, —

разительно напоминает и общую манеру Лабрюйера и героев иных его портретов (Теодект в гл. V и Гитон в гл. VI «Характеров»). Система имен (о которой мы говорили выше) и подбор их тоже ближе к Лабрюйеру, чем к Буало. В «Характерах» есть, например, Созий, Сильван, Хрисипп, Критон (гл. VI) — имена, памятные нам по Кантемиру. Но важнее всего самый метод сводного портрета, для Буало, как мы видели, вовсе не типичный, а Лабрюйером развитый до совершенства.

Еще важнее изучение весьма вероятных источников Кантемира в громадной, во всей Европе читавшейся (как позднее газета) литературе моральной журналистики английского образца. Сами английские журналы («Зритель» и его потомство) отпадают для раннего Кантемира, потому что до половины 1730-х годов он не знает английского языка (даже в начале пребывания в Лондоне он еще едва читает по-английски. «Трудно знать все то, что в сем городе повседневно печатается... наипаче, что весьма мало по-аглицки разумею», — доносит он Остерману в июне 1732 г.). Позднее, конечно, он овладел языком в совершенстве; в библиотеке его было много английских книг (в том числе полный Свифт); в примечании к VI сатире (1738) есть цитата из Попа; в сатире VII «О воспитании» (1739) находят следы влияния педагогических идей Локка. Но отсюда ясно, что вопрос об английских моральных журналах может быть поставлен только в связи с сатирами VI—VIII. Другое дело, континентальные журналы английского образца. Что Кантемир читал их еще до I сатиры, неопровержимо доказывается кратким дневником 1728 г. (заметки в календаре); среди книг, взятых на прочтение у знакомых, значатся там: «Le nouveau Spectateur Français», t. I et II, «Le Misanthrope», t. II, и «Le Mentor moderne», t. III. Следует отметить, что сатиры Кантемира резко отличаются от сатир Буало как раз той чертой, которая сближает Кантемира с английской моральной журналистикой. Эта черта — социальный педагогизм. Буало вовсе не охвачен пафосом; борьбу, и притом настолько серьезную, что некоторые английские историки утверждали, что вся современная Англия (т. е., конечно, английская буржуазия) воспитана в равной мере пуританством и «Зрителем». Как раз та роль серьезно верящего в свою обязанность социального педагога и была ролью Кантемира. Он реально хочет содействовать воспитанию русского народа, — конечно, как он этот народ понимает, а понимает он его организованным в сословную монархию, с сословиями, данными раз навсегда и отвечающими «разумной природе вещей». Но в этих пределах он — моральный реформатор, ведущий, в противоположность Буало, борьбу за петровский путь развития страны. Борьба ведется не только с врагом, более или менее отвлеченным (дикость нравов, невежество, суеверия), но в первых сатирах — с реальным и точным врагом: партия Дашкова и партия вельмож. Совершенно так же (в иных, конечно, условиях) смотрели на свою деятельность и западные моралисты. Они боролись прежде всего с развращающим влиянием аристократической морали на

- 196 -

нравы буржуазии: из их борьбы вырос позднее моральный роман (Ричардсон).

Соотносить сатиры Кантемира надо в первую очередь с западной моралистической литературой 1710—1730-х годов, а не с Буало, который к 1730 г. был уже «образцом», а не живым литературным явлением. Кантемир и взял его в образец (формулы, особенно формулы зачина и обращения; переименование эффектных, наизусть тогда всем памятных мест; жанровые рамки и сама стихотворная форма; приемы речеведения), но дух сатир его соотносится не с Буало, а с моральными журналами английского образца, т. е. самым передовым литературным явлением тогдашней Европы. Недоучет этого обстоятельства приводит к неверному в корне пониманию Кантемира и к ошибке в общей картине

русской литературы XVIII в. (о «Зрителе» вспоминают только в связи с сатирическими журналами 1769—1774 гг.).

Заметим еще, что журнализм Аддисона и сатира Буало находились в соотношении, отнюдь не взаимоисключающем. Аддисон был блистательно образован в латинской литературе; статьи «Зрителя» сопровождаются непрерывными эпиграфами из Ювенала, Персия, Буало и Лабрюйера, влияние Лабрюйера связывает морализм эпохи Людовика XIV с новой эпохой социального педагогизма. Так, и у Кантемира двойственное воздействие латино-французских образцов и новой атмосферы, созданной борьбой журналов за буржуазные нравы, исторически для 1730-х годов совершенно закономерно: как раз подъем буржуазной морали XVIII в. создал новую эпоху понимания древних; переосмыслен был, в сущности, и Буало. Кантемир в высшей степени современен в своем отношении к сатире и Буало и древним. Не надо забывать, что I сатира написана, когда «Генриада» уже гремела во всей Европе, когда Вольтер уже вернулся из Англии, когда, следовательно, уже развернулась ранняя эпоха просветительства (за дальнейшей фазой его развития Кантемир будет следить в самом Париже). Русская обстановка при Петре II была такова, что молодому сатирику естественнее было думать о сатире, непосредственно реформаторской, чем об универсальных недостатках человечества, *travers de l'humanité*, теме сатир Буало.

Вопрос о польских источниках сатир Кантемира не было бы никакого основания ставить, если бы не стихи в списке I сатиры в первой редакции 1792 г.:

Что дал Гораций, занял у француза,
О коль собою бедна моя муза!
Да верно, ума хоть пределы узки,
Что взял по-польски, заплатил по-русски.

Отсюда как будто следует, что, кроме древних и Буало, были и польские источники. Это вполне возможно, потому что в виршевую эпоху польская литература была достаточно известна в Москве. Конечно, после смерти Петра I ее влияние убывает, но ничего невозможного нет в том, что Кантемир что-то заимствовал у польских сатириков. Однако, внимательно вчитываясь в вышеприведенные 4 стиха, видишь, что никакого указания на заимствование из польских поэтов в них нет. Вопрос о заимствованиях исчерпан в первом стихе (который, кстати, надо понимать: наследие Горация я воспринял не у Горация самого, а через Буало). С третьего стиха идет иронически скромная апология своей самостоятельности: как я ни узок умом, но из заимствованного я сделал нечто новое, взял одно, а отдал другое. «Взять по-польски, заплатить по-русски» было, вероятно, ходовой поговоркой эпохи.

- 197 -

5

Белинский говорил в 1845 г., что «развернуть изредка старика Кантемира и прочесть которую-нибудь из его сатир есть истинное наслаждение». С этим согласится и современный читатель, согласится уже потому, что сам испытает неотразимое наслаждение беседы с умным, наблюдательным изобразителем нравов, для которого изображение того, что есть, всегда было подчинено высшей цели борьбы за лучшее и проповеди лучшего. Печать личности не стерлась доньше в стихах Кантемира, ее различаешь и сейчас при простом чтении; между тем, сколько нужно подготовительных работ и какая требуется филологическая специализация, чтобы различить личность старых виршевых поэтов, хотя среди них были такие люди, как Симеон Полоцкий или Димитрий Ростовский. Кантемир — первый русский писатель в современном значении слова, и в этом смысле правы были просветители XIX в. (например Белинский) и созданная ими критическая и школьная традиция, начинавшая Кантемиром историю

новой русской литературы. Личность видна прежде всего в необыкновенной силе, так сказать, литературного зрения.

Бесчетных страстей рабы, от детства до гроба
Гордость, зависть мучит вас, лакомство и злоба,
Самолюбье и вещей тщетных гнусна воля.

Эти слова (в конце V сатиры, 1736) являются как бы общим моральным тезисом. Кантемир видит вокруг себя людей без понятия о внутренней жизни, без любви к просвещению своего ума и без проблеска мысли об общественных обязанностях. Их темная душа раздирается поэтому чванством перед ниже стоящими, завистью к выше стоящим, жадностью к грубым утехам богатства и тщеславия. Мучители других, они несчастны сами. Но этот тезис, сам по себе, конечно, не новый (он проходит через всю историю сатиры и моральной философии от греков и римлян до непосредственных предшественников и литературных учителей Кантемира), становится нов, если писатель продумал его на реально ему известных современных ему людях и на реальных вопросах современной ему общественной жизни. В сатирических портретах Кантемира произошло скрещение классической традиции изображения «пороков» и людей русской действительности 1730-х годов, реальных дворян, епископов, вельмож, купцов и аристократов времен Анны Ивановны. Кантемир умеет верно видеть отношения между людьми. Мифологический Сатир (в сатире V) был среди людей слугою. Обманутый кротким видом Милона, он поступил в его дом. Оказалось, что в доме непрерывный ряд ссор и скандалов. Однажды слуга, вернувшись домой,

Нашел всю в соборе
Семью, горит куча свеч, поп в святом уборе.

Он бесстрашно вошел, решив, что хотя на время молебна хозяева постыдятся ссориться. Но тут один из детей уронил платок матери, лежавший с краю стола.

Буря тотчас встала;
Отец сперва, потом мать волноваться стала.

Бранят виновного, он извиняется, за него заступаются братья, начинается ссора, заглушающая пение. Поп, видя, что ссора растет, «спешит утолять огонь»; к нему присоединяется и слуга, убеждая хозяина в

- 198 -

незначительности повода к ссоре и в непристойности такой сцены во время службы.

Но вдруг вижу, что свечи и книги летают,
На попе уже борода и кудри пылают,
И туша кричит, бежит в ризах из палаты.
Хозяин за мой совет тут мне, вместо платы,
Налоем в спину стрельнул, я с лестниц скатился,
Не знаю, как только цел внизу очутился.

Вся сцена ясно видна; физические движения изображены краткими, но точными словами; взрыв тщетно подавляемой злости и ступени разрастающейся ссоры доведены в рассказе до полной зрительной отчетливости; за нею проступают очертания моральной отчетливости характеров. Сцена забавна еще и сейчас. Но чтобы оценить историческое значение Кантемира, надо помнить, что до него мы не найдем в виршевой поэзии простого умения рассказать забавную бытовую сцену. Выше приводились два стиха Симеона: сварливая жена бранит мужа («люте лает»), пришедшего домой с пустыми руками. Симеон не умеет рассказать об этой ссоре, не видит действующих лиц, не понимает уместности бытового рассказа и, собственно говоря, ограничивается заглавием к ненаписанному эпизоду. Кантемир — первый в русской литературе бытописатель. Но вот пример, так сказать, жанровой живописи в более серьезном смысле слова. Сатир (в той же

У сатире) попал в большой город в самый Николин день и нашел весь город мертвецки пьяным.

Прибыл я в город ваш в день некой знаменитый.
Пришел к воротам, нашел, что спит как убитый
Мужик с ружьем, который, как потом проведаль,
Поставлен был вход стеречь. Еще не обедал
Было народ, и солнце полкруга небесна
Не прибегло, а почти уже улица тесна
Была от лежащих тел.

Не чума ли в городе? Нет, мертвечиной не пахнет, никто не отбегает в испуге от валяющихся тел, и сами трупы поднимают то руки, то тяжелые румяные головы. Не все лежат, иные ходят, но не потому, что менее пьяны, а потому, что выносливее. Тут же в грязи, на улице, безобразные непристойные пляски. Один, долго шатавшись, бьется пьяной головой о стену, течет кровь, зрители хохочут, тут же пьяная драка и выбитые зубы, кое-кто умер, перепившись, или убит в поножовщине.

Песни бесстыдны и шум повсюду бесстройный,
Что и глухого ушам были б беспокойны.
Словом, крайний там мятеж, бесчинство ужасно;
Народ весь — как без ума казался мне власно.

Историческая верность этой сцены подтверждается показаниями современников, но нам сейчас важно отметить нравственное негодование сатирика, глубокую его боль за русских людей и разрешение этого негодования не в абстрактно патетическом обличении, а в жанровой сцене, каждая деталь которой художественно верна и зрительно отчетлива (чего стоят, например, «головы тяжки и румяны!»). Плеханов был прав, назвав это описание поистине превосходным.

Еще выше в художественном отношении не массовые сцены (сравнительно редкие у Кантемира), а портреты (характеры, в лабрюйеровом смысле слова). Их много десятков (в одной III сатире до 15). многие из

- 199 -

них хороши — не только остроумной колкостью, а типичным для Кантемира подчинением жанрового материала социально-педагогической цели, просветительной установкой. Переносчик вестей Менандр (III сатира) с утра толкается среди людей, чтобы первым узнать все новости: какой вышел указ, в какой кто произведен чин, что привез гонец из Персии, а то и просто, кто на ком женится, кто проигрался,

Кто за кем волочится, кто выехал, въехал,
У кого родился сын, кто на тот свет съехал.

Какая ему от этого польза? Богаче ли он станет от любознательности к чужим делам? Нет, это бескорыстная страсть, искусство для искусства. Наградой Менандру будет перенесение собранных вестей, изображенное у Кантемира так верно и умно, что современный читатель видит живым московского сплетника 1730 г.:

Когда же Менандр новизн наберет нескучно,
Недавно то влитое ново вино в судно
Кипит, шипит, обруч рвет доски, подувая,
Выбьет втулку, свирепо устьми вытекая.

Менандра распирает от собранных вестей. Горе тому, на кого рухнет каскад:

Встретит ли тебя, тотчас в уши вестей с двести
Насвищет, и слышал те из верных рук вести,
И тебе с любви своей оны сообщает,
Прося держать про себя.

В иных случаях прорывается прямое негодование или отвращение сатирика. Клитес весь распух от пьянства:

...дрожат руки и ноги,

Как под брехатым дьяком однокольные дроги.

Он нищ, презрен людьми и преждевременно состарился; но впавший в скотство человек оживляется, завидев полную чарку,

И сколь подобен скоту больше становится
Бесмысленну, столько он больше веселится.

Над всеми сатирами Кантемира, вместе взятыми, витает один образ, оставшийся неназванным, частично обрисованный в VI сатире, образ человека, серьезно относящегося к цели человеческой жизни и нашедшего эту цель в выполнении долга перед обществом. Создание этого образца чрез противоположные образы глупых, порочных и презренных людей является величайшей просветительской заслугой Кантемира.

Спрашивается, далее, в каком отношении находится галерея героев Кантемира не к бытовым, а к социальным особенностям русской жизни 1730-х годов и каков, следовательно, реальный смысл его идеала просвещенного общественного деятеля? Понять это можно только из обзора сатир в хронологическом порядке.

О I сатире, ее памфлетном характере и теснейшей связи с политическими обстоятельствами 1729 г., успехе, полулегальном распространении, восторге «ученой дружины» и раздражении церковной партии говорилось выше. II сатира была написана через два месяца после первой. В ней тоже есть намеки на обстоятельства и людей времени (например на того же Дашкова); тот же архимандрит Кролик приветствовал автора латинскими стихами. Не меньшей была и гражданская смелость II сатиры.

- 200 -

Сатира, написанная в форме диалога между Аретофилом-«Добролюбом» (во второй редакции Филаретом — любителем добродетели) и «дворянином» (во второй редакции Евгением, т. е. «благорожденным»), с подзаголовком «на зависть и гордость дворян злонравных», ставит в русской поэзии в первый раз знаменитый впоследствии вопрос о соотношении благородства рождения и благородства заслуг. Войдет в традицию и кантемирово решение: знатный должен оправдать свое происхождение заслугами. Мысль эта станет стержнем социально-политического мировоззрения. Сумарокова:

Какое барина отличие с мужиком?

И тот и тот земли одушевленный ком,

И если не ясней ум барский мужикова,

То я различия не вижу никакова.

Если ты, просвещает дворянина Филарет, побеждал в бою, увеличил доход, государства, заботливо управлял, то

Изрядно можешь сказать, что ты благороден.

Это была петровская точка зрения, т. е. и личная точка зрения Петра и убеждение всего поколения, произведшего реформу либо реформой воспитанного. Но в 1729 г. нужны были и смелость и политическая активность, чтобы, провозгласив эти истины, напомнить недавнюю, для Кантемира и Феофана героическую, эпоху. II сатира, следовательно, тоже была злободневным полупамфлетом. В предисловии Кантемиру пришлось оправдываться от возможных обвинений в отрицании дворянства и прав знатного рода: «я не благородие хулить намеряюся, но устремляюсь против гордости и зависти дворян злонравных... преимущество благородия честно и полезно и знаменито, ежели благородный честные имеет поступки и добрыми украшается нравами. Темнотою злонравия всякое благородства блистание помрачается». Это была необходимая предосторожность, но она выражала и действительное мнение автора: было бы неверно представлять себе Кантемира противником сословной организации государства. Господство дворянства нельзя даже назвать его идеалом, это нечто большее, это безмолвно разумеющаяся, основная предпосылка всего его политического мышления. Но II сатира политически

направлена к защите петровской точки зрения на дворянство как на сословие, непрерывно обновляемое введением в него людей, оказавших «заслуги»; аргументация Кантемира поэтому такова: дворянство идет не от сотворения мира, предки всякого нынешнего знатного стали знатны, выделившись качествами из толпы незнатных; выделение это не остановилось, оно продолжается; какое же основание имеет нынешний дворянин обижаться награждением разночинца? Его собственные предки когда-то выдвинулись точь-в-точь таким же образом, так что, отрицая право новых, он отрицает собственное свое право, идущее от этих предков. В конечном счете, всеобщие предки всех знатных, новых и старых, — «простые земледельцы», спасенные в Ноевом ковчеге:

От них мы все сплошь пошли, один поране
Оставя дудку, соху, другой попозднее.

В обстановке 1729 г. такая аргументация имела очевидный прямой политический смысл защиты новой правящей группы, выдвинутой реформационной эпохой:

...они ведь собою
Начинают знатный род, как твой род начали
Твои предки, когда Русь греки крестить стали.

- 201 -

Редакция 1729 г. отяжелена рассуждениями в стихах. Переделка 1737 г. улучшила теоретическую часть, прибавила блестящие сатирические портреты и сцены, например утро бездельника, потомка древних предков:

Зевнул, растворил глаза, выспался до воли.
Тянешься уж час-другой, нежишься ожидая
Пойло, что шлет Индия иль везут с Китая.

Щеголь долго одевается и долго подбирает одежду:

Не столько стало народ римлянов пристойно
Основать, как выбрать цвет и парчу и стройно
Сшить кафтан по правилам щегольства и моды.

Выбранный, наконец, наряд стоит тысячи рублей:

Деревню взденешь потом на себя ты целу.

Потом обжорство за обедом, пьяный ужин среди толпы ложных друзей и деревни, проигранные в одну ночь за карточным столом. Пустоголовый лентяй притязает, однако, на должности и чины.

Как тебе верить корабль? ты лодкой не правил
И хотя в пруду твоём, лишь берег оставил,
Тотчас к берегу спешишь: гладких испугался
Ты вод.

Даже «писанна смерть» (т. е. изображенное на картине сражение) заставляет его дрожать, и храбр он лишь против безответного слуги.

Таким образом II сатира во многом предваряет развитие идей и тем литературы XVIII в., прежде всего, будущую социальную философию Сумарокова и его группы (происхождение дворянства из «заслуг» и отсюда требование оправдать древность рода заслугами новыми), но также и в связи с этим — портрет петиметра. Успех этой темы в позднейшей литературе XVIII в. общеизвестен.

III сатира (Феофану, о различии страстей человеческих) явственно отличается от первых двух. Она написана (в первой редакции) в 1730 г., через несколько месяцев после победы шляхетства. Самый острый период в истории «ученой дружины» позади; опасность вельможеской и церковной реакции устранена; направление Феофана официально признано, что впрочем, не значит, что оно стало реально руководящим. В связи с этим изменением политической обстановки III сатира становится, скорее, картиной нравов. Возможно, что это было результатом какого-то плана литературного поведения, обдуманного Кантемиром совместно с Феофаном (быть может, поэтому именно эта сатира в похвальнейших выражениях посвящена ему), например плана

педагогического, через литературу, воздействия на дворянство и на столичное общество. Другим отличием является подражание Лабрюйеру и по общему методу (серия портретов) и по составу отдельных портретов. В изъяснениях сам Кантемир говорит, что он «в сей сатире имитовал Феофраота, греческого философа, а из новейших Лабрюйера, которые оба показали себя в ясном изображении различных человеческих нравов». Влияние Лабрюйера сказывается и в сравнительной слабости русских бытовых черт; они внесены лишь второочередным порядком, т. е. автор исходит их «характера» (например скупого) и понимает его универсально, как одну из категорий, один из разрядов человечества, описанных и у Феофраста, и у Плавта, и у Лабрюйера, и в уже готовую концепцию «характера» вставляет московские бытовые

- 202 -

детали, заменяя ими римские или парижские. Так, например, в словах переносчика вестей (Менандра во второй редакции):

В гвардии вчера была чинам перемена;
Цена уже поднялась и дровам и сена;
Синод умножен будет по Петра уставу
Да лучше распространит церковную славу;
Генерал из Персии будет сюда вскоре,
Уж, я чаю, он в судне, уже пустился в море, —

все упомянутые обстоятельства русские, «о интонации, речевые жесты, манера безличные; с таким же успехом можно было бы возратить портрет Лабрюйеру, заменив генерала из Персии посланником от штатгальтера из Гааги. Во второй редакции (1737) вся сатира блистательно переписана, появляются характеры, в известной мере русские, например святоша Варлаам:

...как в палату войдет,
Всем низко поклонится, к всякому подойдет,
В угол свернувшись потом, глаза в землю втупит,
Чуть слышать, что говорит: чуть, как ходит, ступит,
и т. д.,

но общий тон сатиры остается, скорее, лабрюйеровым: иные черты поэтому, не нарушая стиля, могут быть явно нерусскими; так, например, тщеславный Фока знакомится с писателями, платит им большие деньги, чтобы те писали в его честь, а даже

...кто сочтет, во что ему стали
Тетради, что под его именем недавно
Изданы?

Вельможа, издававший под своим именем труды бедного автора, в 1730-е годы в России нам неизвестен. Вряд ли Кантемир имел в виду подобный случай в Петербурге и Москве; вернее, здесь действовала литературная инерция парижской сатиры.

По стилю III сатира (во второй редакции), быть может, лучшее из всего, что Кантемир написал. Разнообразие изображенных характеров, перемена языковых красок сообразно каждому из них, свобода фразового движения стихотворной речи достигают здесь наибольшего совершенства.

Сатира IV написана была в начале 1731 г. Заглавие «К Музе своей» и формула зачина — ироническое приглашение своей Музе прекратить писание сатир — сознательно напоминают читателю одну из важнейших сатир Буало. По числу и важности местных черт сатира снова приближается к I и II. Намек на какое-то весьма реальное обстоятельство есть уже вначале, где Кантемир говорит о «многих», кому «не любви» его сатиры, за чем следуют портреты недовольных: Кондрат в гневе собирает стряпчих и пишет челобитную о привлечении сатирика к суду за то, что его насмешки над пьяными уменьшают кабацкие доходы; старообрядец Никон, вытвердивший наизусть Библию острожской печати, пишет богословское обвинение сатирика в неверии и подрыве религии. Все это, вероятно, выдуманно, но под выдуманным разумеются какие-то, нам уже

известные, реальные и опасные враги и не менее реальные доносы. Это предположение становится почти несомненным, если обратить внимание на непосредственно следующие стихи:

Иной не хочет писать указ об отказе,
Что о взятках говоришь обычных в приказе,

- 203 -

т. е. чиновники отказывают Кантемиру в правосудии по делу об отцовском наследстве (в котором он был без всякого спора прав) за его литературные нападки на господствующую в приказах взятку. В реальном характере этого «инога» нельзя сомневаться, а, следовательно, его соседи Кондрат и Никон, вероятно, — вполне известные автору политические его враги. Это проливает свет на реальный смысл подзаголовка: «О опасности сатирических сочинений». Какая опасность могла грозить Кантемиру? Конечно, меньшая, чем до переворота 1730 г. (тогда ему, как и Феофану, в случае победы церковников, либо олигархов, угрожала гибель); но и сейчас, в 1731 г., Кантемир отлично понимает силу своих врагов, степень раздражения, вызванного его сатирами, и возможность крупных неприятностей:

Муза, свет мой! слог твой мне творцу ядовитый
Кто всех бить нахалится, часто живет битый,
И стихи, что чтецам [читателям] смех на губы сажают,
Часто слез издателю [автору] причина бывают.

Дальше идут иронический отказ от сатиры, иронический переход к похвалам, ироническое признание в неспособности хвалить (все это по образцу Буало) и возвращение к сатире с фиктивным воззванием к покровительству царицы, при которой не могут «вредить» враги. В целом, вся сатира, писавшаяся в год безуспешной для Кантемира тяжбы о наследстве, дышит пафосом просветительства; сатирик заявляет ею неизменность задуманной им борьбы за просвещение своих соотечественников. V сатира (того же 1731 г.), в будущей заграничной редакции переработанная до неузнаваемости и превратившаяся в уже знакомый нам рассказ мифологического Сатира о том, что он видел в городе у людей, в первой редакции представляет, пожалуй, самую неинтересную из всех сатир Кантемира. Подражание знаменитой сатире Буало «На человека» доходит до простого переложения, конечно, с обычным применительным переименованием, «склонением» на русские нравы. Но так как изображенные пороки принадлежат к числу самых общих (например непостоянство человеческих желаний), то руссификация получилась только литературная. Сын, ставший после смерти отца обладателем большого состояния, сначала хочет строить церкви и богадельни, но бросает эту мысль и собирается путешествовать. Да опять: «коли [к чему] ездить? Пора мне жениться». Он купил уже перстень, но завтра встает с новой мыслью: рано жениться, лучше развлекаться; приходят друзья, и начинается игра в кости. Русские здесь только отдельные черты быта (петь сорокоусты, обновить пустые монастыри), да просторечие (нутко сел в кости играти), кстати, в эту сатиру введенное особенно щедро, вероятно, для того, чтобы уравновесить ее чрезмерную общность и классичность. Для Кантемира 1731 г. вся V сатира архаична; весьма возможно, что автор смотрел на нее как на литературное упражнение в усвоении «большого» сатирического стиля; именно потому, вероятно, как раз эта сатира в заграничной переработке станет совершенно новым произведением: «стихотворец перед отъездом в чужие края сочинил было сатиру на подражание осьмой Буаловой, которая надписана [озаглавлена] „На человека“; но потом усмотрев, что почти вся состояла из речей французского сатирика, выбрав из нее малую часть стихов, составил сию пятую сатиру в Лондоне в 1737 г.». Последняя из сатир, написанных до отъезда за границу, так называемая IX, дошла до нас в весьма неисправном списке, в одном сборнике XVIII в., где она следует непосредственно за первыми пятью в первоначальной редакции; следовательно, она ходила по рукам наравне с ними в качестве шестой и, следовательно,

- 204 -

написана в 1731 г. За границей Кантемир не успел ее переработать; поэтому она не попала в подготовленный им сборник 1743 г. и долго оставалась неизвестной (только в 1858 г. ее нашел Тихонравов, справедливо давший ей очень высокую оценку за «проникающее ее скорбное негодование» и за обилие живых черт русской жизни, подтверждаемых, говорит он, сочинениями Посошкова, Феофана и правительственными указами). По композиции — неудачное и чисто формальное обращение к солнцу, о чем говорилось выше, по фактуре стиха, впрочем, испорченного переписчиками, по речевому вымыслу и разнообразию эта сатира слабее всех прочих (даже первых пяти по первой редакции), но по богатству изображения и силе гражданского чувства она не уступает первой сатире, от которой, впрочем, отличается характером своего пафоса: сатирик, глубже проникший в русскую жизнь, подавлен картиной царящего в ней зла. Победа 1730 г. оказалась эфемерной; Дашкова нет, верховники обезврежены, но зло не затронуто, оно лежало глубже второстепенных отличий между режимом Петра II и Анны Ивановны. Типичный просветитель, Кантемир больше всего поражен силой всеобщего невежества, темнотой умов. Раскольник, которому впору рассказывать про волжские разбои, «врет богословски речи», недоволен тем, что печатают Библию, «Котору христианам больно грешно знати», считает еретиками всех, кто оправдывает бритье бород и несогласен с тем, что введение манжет предвещает близкий конец мира. Другой оправдывает воскресное пьянство тем, что и богу надо отдохнуть:

Грешно де весь день будет богу докучати

Купец почтенного вида, столь ревностный к службе, что

Пол весь заставит дрожать, как кладет поклоны,

глядишь, завтра сидит в тюрьме за мошенничество. Все говорят о религии и святой жизни монахов, но все верят только в деньги. Подьячий высох от злости, что ему удалось меньше награть, чем другому. В стране нет правосудия; приговор покупается за деньги; в стране нет торговли, не основанной на плутне. Купец, священник, чиновник отличаются только способом своей нечестности, но одинаково безнравственны и одинаково повинуются одной лишь грубой и жадной корысти. Темнота и безнравственность — вот приговор сатирика над русской жизнью 1730-х годов.

Бросается в глаза отличие этой картины от «генеральных» пороков я причуд человечества в V сатире. Бросается в глаза и иной пафос поэта, пафос морального потрясения, глубокой жалости и гражданской боли:

Что уж сказать о нашем житье межъусобном?

Как мы живем друг к другу в всяком деле злобном?

Тут глаза потемнеют, голова вкруг ходит,

Рука с пером от жалю как курица бродит.

т. е. от жалости перо едва не выпадает из рук. Это соответствует истине. Сатира писалась человеком, который пережил чувство, близкое к ужасу, перед картиной русской действительности. Он и здесь остается просветителем, выход он видит попрежнему в распространении знания (за знанием придут и честность и гражданская доблесть), но замечательным образом как раз в этой сатире встречается выпад против Академии Наук, единственный случай у Кантемира нападения не на врагов просвещения, а на его недостойных носителей. Вот это замечательное место:

Вон дивись, как ученья заводят заводы:

Строят безмерным коштом тут палаты славны;

- 205 -

Славят, что учения будут тамо главны;

Тщатся хоть именем умножить к ним чести

(Коли не делом), пишут печатные вест:

«Вот завтра учения высоки начнутся,

«Вот уж и учителя заморски сберутся;

«Пусть, как можно всяк скоро о себе радеет,

«Кто оных обучаться охоту имеет».
Иной бедный, кто сердцем учиться желает,
Всеми силами к тому скоро поспешает,
А пришед, комплиментов увидит не мало,
Высоких же наук там стены [тени] не бывало.

Соблюдена, иначе говоря, вся форма учености, например титулатура профессоров, построены академические здания, опубликованы в газетах приглашения съехаться желающим для слушания курса, нет только главного: нет самой науки, и ничего не делается для обучения молодежи, рвущейся к науке. Кантемир имеет в виду, действительно, печальное состояние Академии в первые годы ее существования — академики не выполняли главной своей обязанности, точно указанной в регламенте Петра: преподавать в академической гимназии; до 1733 г. (а Кантемир пишет в 1731 г.) нам неизвестен ни один русский студент, слушавший лекции профессоров (да и после 1733 г. их будет очень мало, пока Ломоносов не изменит решительно всей педагогической политики Академии). Известно, что это невыполнение иностранными учеными их первой и прямой обязанности — «размножить науки», т. е. нарушение петровского регламента, — заставило Кантемира в том же 1731 г. искать звания президента Академии. У него было больше прав на эту должность, чем, например, у балтийского аристократа, молодого и ни к каким наукам не прикосновенного барона Корфа, который в 1734 г. был назначен «командиром» Академии. Если бы назначение состоялось, в биографию Кантемира была бы вписана блестящая глава; без сомнения, он направил бы работу Академии к соединению чисто академических ее обязанностей с университетскими. Но назначению помешали те же причины, по которым Кантемира ожидал не пост президента Академии, а почетная ссылка за границу. Смелый и страстный сатирик создал себе слишком много врагов.

В работе Кантемира над сатирами наступает шестилетний перерыв. Лондонские годы (1732—1738) уходят на хлопотливые обязанности по дипломатической службе; досуг занят работой над расширением образования, Кантемир изучает древних, овладевает современным состоянием наук о природе, знакомится с новой английской культурой; к концу лондонского периода цель «в просвещении стать с веком наравне» достигнута: Кантемир стал одним из образованнейших европейцев своего времени. Но одновременно произошло и несомненное понижение уровня его политической мысли. Прежний идеал непосредственного политического действия, активного, так сказать, просветительства, сменяется идеалом более кабинетного характера. Он выражен в VI сатире (1738), она же первая заграничная. Недаром она озаглавлена «Об истинном блаженстве». Речь здесь идет уже не о борьбе за изменение порочных людей, а об ограждении самого себя от унижающих человека мелких целей и мелких страстей; безумному и порочному миру противопоставлен мудрец, достигший понимания истинной меры человеческих вещей; он знает, что цели, преследуемые искателем чинов или честолюбцем, не стоят полагаемых им усилий. Вот ты достиг предела своих желаний,

Спишь на золоте, золото на золоте всходит
Тебе на стол, и холоп твой в золоте ходит.

- 206 -

но взволнованные преследованием богатства и знатности страсти все равно не успокоятся и будут тебя мучить еще злее. Блаженство действительное есть одно: непрерывное просвещение своего ума и непрерывная борьба за очищение души от смущающих ее страстей. Связь этой морали с аристократической моралью стоиков, особенно римских, очевидна. Сам автор чувствует «римский» характер своего идеала и невольно начинает свою сатиру традиционной формулой «блажен кто...» («*beatus ille qui...*» в эподе Горация), формулой, неоднократно повторенной позднее едва ли не всеми русскими поэтами XVIII в.:

Тот в сей жизни лишь блажен, кто своим доволен.
В тишине знает прожить, от суетных волен
Мыслей, что мучат других, и топчет надежду
Стезю добродетели, к концу неизбежную.

Очевидно, что идеал, проповедуемый здесь Кантемиром, отделил бы того, кто его осуществил, от реальных интересов народа; этот идеал морального оазиса среди царящего в мире зла,

Где б, от шуму отдален, прочее все время
Провожать меж мертвыми греки и латины,
Исследуя всех вещей действие и причины.

Правда, греков и римлян надо понимать расширенно, как символ всякого кабинетного научного труда. В любопытном примечании к этому месту Кантемир объясняет, что только «нужда меры», т. е. условия стихотворной речи, не позволила ему назвать «и новейших писателей, которых он не меньше старых почитает», признавая, что в «философических и математических делах от сих больше научиться можно», но если даже к Фукидиду и Тациту присоединить Декарта, Ньютона и Бэйля, все равно остается неразрешенным вопрос об отношении высокой культуры одного к невежеству большинства, а, следовательно, позиция пропаганды и активной борьбы за просвещение всей страны оставлена или, вернее, незаметно переродилась в позицию пассивного просветительства. На фоне русской жизни 1730-х годов и этот идеал остается достаточно высоким, уступка объясняется, вероятно, и отрывом Кантемира от русской обстановки и естественным разочарованием в плодах восстановленного восемь лет тому назад с его помощью самодержавия Анны Ивановны.

Тот же характер абстрактного рассуждения о нравах носит и VII сатира «О воспитании», написанная в Париже в 1739 г. и обращенная к старому другу, кн. Никите Юрьевичу Трубецкому. Педагогические идеи Кантемира стоят на уровне века; трактат Локка «О воспитании детей» ему известен. В основу сатиры положена типичная для века просвещения мысль о всевластной силе воспитания, которое является как бы вторым рождением, более сильным, чем первое, природное. Как же воспитывать? — прежде всего, примером. Рассуждения бессильны — дети их не поймут; советы тоже пройдут мимо них; но дети, как и все живые существа, склонны подражать, и этим свойством надо воспользоваться, чтобы на нем основать педагогическую систему. Почему Филин пьяница? Потому что таким был его отец. Дерзкая кокетка Сильвия пошла в мать. Как ты хочешь, чтобы твой сын не стал рабом страстей, если он в детстве видел, что твоя собственная жизнь не знала иного закона, как служение чванству, жадности и эгоизму? Пусть сын твой на примере твоей собственной жизни увидит преимущество воздержания, любви к просвещению и пренебрежения к оборотам фортуны, и он захочет быть подобен тебе. Покажи ему тюрьму, в которую мотовство привело Клеарха, сведи его

- 207 -

в больницу, где от сифилиса гниет Мелит; пусть он увидит конуру, в которой скупой Игнатий сидит голодный над кучей золота. Все эти мысли и самый метод рассуждения явно параллельны педагогическим теориям английских моральных журналов. Кантемир, очевидно, был поражен превосходством, в среднем, семейных и частных нравов английской буржуазии над нравами русского дворянства; ему известна также роль моральной журналистики в укреплении внутриклассовой нравственности английской буржуазии; он предпринимает нечто подобное на русской почве. Но Кантемир забыл, что морализм в Англии был ослабленным продолжением революционного пуританства, иначе говоря, он забыл, что создание нравственно-здоровой общественной среды есть задача, прежде всего, политическая. Отсюда абстрактный характер всей VII сатиры.

Последняя, VIII, сатира (Париж, 1739) «На бесстыдную нахальчивость» изображает дерзкое самодовольство и легкомысленную самоуверенность, свойственную людям без действительных заслуг; напротив, серьезный и достойный человек знает трудность

всякого серьезного дела; поэтому его суждения медленны, обдуманно; он часто молчит, между тем как у дерзкого глупца есть на все случаи готовые суждения, всегда неверные, но всегда импонирующие другим глупцам. Русских бытовых черт в сатире нет. Реальным основанием для сатиры были, скорее, первые впечатления светской и салонной жизни Парижа, вероятно, поразившей Кантемира своим легкомыслием после шестилетнего пребывания в более «серьезной» лондонской обстановке.

Хотя сатиры Кантемира ходили в рукописи (особенно первая), трудно переоценить отрицательные последствия того, что они не были своевременно напечатаны, когда в 1743 г. автор представил Елизавете полный их список. Не помогло и предохранительное посвящение царице. Конечно, Ломоносов, Поповский, Третьяковский, Сумароков и все литературное поколение 1740-х годов знало эти сатиры по обращавшимся полулегальным спискам, но отсутствие печатного издания, естественно, в глазах публики сливавшееся с 12-летним пребыванием автора за границей, отстраняло его наследие от живой литературной борьбы 1740—1750-х годов. Будь сатиры напечатаны в 1743 г., их появление совпало бы с началом серии лучших од Ломоносова и ощутительно представило бы типичный для всей эпохи классицизма распад поэзии на два основных крыла, одический и сатирический с накоплением в сатире элементов реалистического стиля. Кроме того, своевременное издание ввело бы в литературу богатство мыслей, наблюдений, боевой темперамент, политическую страстность, все те черты, которые так выгодно отличают сатиру Кантемира. Ведь даже запоздалое издание 1762 г. оказало известное влияние на молодое литературное поколение, например на Державина и Новикова. Подъем сатирической литературы в 1760—1770-е годы был как бы оправдан и освящен замогильным голосом Кантемира. Влияние было бы большим, если бы не различие в стихосложении. Как это ни странно покажется на первый взгляд, различие ощущалось острее, чем сейчас или даже в XIX в.: поколение 1760-х годов стояло еще так близко к реформе стихосложения, что недооценка старой системы и своего рода гордость недавно открытой тоникой приводила к преувеличенному пренебрежению к силлабической системе, вирши казались уродливыми «прозаическими строчками» (слова Третьяковского) и верность Кантемира старой системе — недоразумением. Это одна из причин, по которым действительная оценка его сатир произошла позднее (статья Жуковского в «Вестнике Европы» за 1810 г., «Вечер у Кантемира» Батюшкова в «Опытах» 1817 г. И в особенности статьи Белинского). Специальная статья Белинского о Кантемире (1845)

- 208 -

является лучшим донныне из всего, что критика и наука сказали о нем. Кантемир здесь справедливо назван как бы сооснователем новой русской литературы, рядом с Ломоносовым, как бы предисловием к нему. «Этот человек, по какому-то инстинкту, первый на Руси свел поэзию с жизнью». «Он начал сатирическое направление, которое отныне никогда уже не прекращалось в русской литературе, а позднее переродилось в юмористическое» (Белинский имеет в виду Гоголя). «Имя его пережило много эфемерных знаменитостей, и классических и романтических, и еще переживет их многие тысячи».

Мы видели, что, несмотря на все препятствия, сатиры Кантемира сыграли свою роль в 1729—1731 гг., роль, можно сказать, историческую, а первое русское их издание (1762) оказало известное влияние на подъем сатирической литературы при Екатерине II. Картина была бы неполной, если забыть, что известное место Кантемир занял и в западной литературе. Он был первым русским писателем, который завоевал если не европейскую славу, то европейское почетное имя. Для Вольтера, для Дидро, для поколения энциклопедистов Кантемир — хорошо известное литературное лицо и как бы представитель в Париже молодой русской культуры. Между тем известность Феофана (тоже довольно широкая) была главным образом известностью политического деятеля, а латинские его произведения читались только в богословских немецких кругах. Незадолго

до смерти Кантемир помогал своему другу аббату Гуаско в предпринятом им переводе сатир Кантемира на французский язык. В 1749 г. перевод этот вышел в Лондоне и, очевидно, имел значительный успех, если издание было повторено в 1750 г. В лондонском издании сатиры были доступны европейскому образованному миру — за 12 лет до печатного издания их в России! Гуаско написал для этого издания большую биографию Кантемира, которая доныне остается главным источником наших сведений о нем: все новые материалы, вошедшие с тех пор в научный оборот, подтвердили достоверность и авторитетность работы Гуаско. В 1752 г. в Берлине вышел немецкий перевод сатир, сделанный с лондонского французского текста. Все эти заграничные издания, конечно, были известны и в России, но известны только профессионалам-литераторам, а когда вышло, наконец, первое русское издание (1762), время для живой, серьезной оценки Кантемира уже прошло, а для оценки исторической время еще не наступило.

6

Вслед за сатирами вторым важнейшим делом Кантемира была его культурно-просветительская деятельность, в которой явно различаются две стороны: пропаганда ново-европейской рациональной системы понимания природы (перевод трактата Фонтенеля) и просветительство, так сказать, филологическое (переводы из древних, труды по истории и теории литературы). Совместность того и другого не является единоличной особенностью Кантемира; напротив, она типична для позднего европейского классицизма, последняя фаза которого хронологически вступила в эпоху новой английской науки о природе. Недаром Вольтер был одновременно популяризатором ньютоновской небесной механики и сторонником единоспасающей «античной» нормы в поэзии. Кантемир был сознательным защитником подобной же точки зрения. В примечаниях к VI сатире он признает, что «в философических и математических делах» новые писатели пошли дальше древних, следовательно, безмолвно утверждает, что в поэзии вечной нормой остаются Вергилий и Гораций. Это нужно помнить, чтобы понять действительный смысл и цель его филологических работ. К ним относятся

- 209 -

в первую очередь стихотворные переводы Анакреона и «Посланий» Горация. Это работы не столько художественные, сколько филологические. Вместе с филологическими и переводными трудами Тредиаковского (как, например, его перевод «Послания к Пизонам» Горация) переводы Кантемира начинают третью эпоху в истории усвоения античной поэзии на русской почве: первой следует считать школьную (лекции, чтение авторов и рукописные пиитики в Киево-Могилянской и Московской славяно-греко-латинской академиях), второй — петровскую переводную. Третья эпоха характеризуется новой нормой филологической точности и внесением филологической эрудиции в толкование трудных и спорных мест. Перевод Анакреона, сделанный Кантемиром в Лондоне в 1736 г., является в этом отношении научно-новаторским делом: впервые античный поэт переводился с учетом современного состояния связанных с ним текстологических и критических вопросов. В предисловии Кантемир указывает, что он следовал тексту издания Дасье (издания этой ученой женщины, лучшего текстолога начала XVIII в., составили когда-то эпоху), но привлекал и английские издания Бариса (1721) и Матера. На фоне переводов Петровской эпохи такое серьезное отношение к вопросам авторитетного текста было беспрецедентным и новым. Кантемир и Тредиаковский — родоначальники русской филологии. Разделяя ошибки науки своего времени, Кантемир не знает и не может знать, что большинство 55 переведенных им од Анакреона представляет позднюю (преимущественно византийскую) стилизацию. Для ново-европейской поэзии не этот филологический вопрос имел значение; мнимо-Анакреоновы оды давали образец культурно совершенных форм легкой поэзии, их усвоение вызвало к жизни новую «анакреонтическую» поэзию, роль которой в XVIII в. (особенно в Германии) была очень велика; русская же анакреонтика XVIII в. сыграла особую роль в подготовке языка Пушкина. Мы назвали бы Кантемира начинателем этого литературного движения

(Ломоносов только в 1747 г. переведил Анакреона для «Риторики»), если бы не злой рок, так безжалостно искаживший судьбы всего его литературного наследия; вполне подготовленный к печати перевод (1736), присланный автором из Лондона (даже с указаниями для наборщика), остался все же не напечатанным: до Ефремовского издания 1868 г. Анакреон Кантемира был неизвестен. Но если бы он ни на кого в свое время не мог повлиять, то перевод этот — все же не случайное явление, а первое звено в важнейшем процессе серьезного, а не школьно-пиитического усвоения новой русской литературой поэтического наследия древних.

Кантемир переводит Анакреона коротким 7- и 8-сложным стихом без рифм (по образцу итальянцев, которые возвели в теорию безрифменный перевод античных поэтов). Над стихотворным языком проделана большая работа: язык и стиль сознательно не те, что в сатирах. Приведем в качестве примера ту оду (последнюю, 55-ю), которая хорошо известна по переводу Пушкина («Узнаем коней ретивых...»):

Кони убо на стегнах [на бедрах]
Выжженный имеют знак
И парфянских всяк мужей
По шапке можешь узнать.
Я же любящих [любовников] тотчас,
Лишь увижу, познаю;
Того бо [ибо], что бедные
В сердце скрывают своем,
На лице видится знак.

- 210 -

Языковая задача заключалась в том, чтобы избежать просторечия (которое было бы стилистически неуместным), найти достаточно простой и легкий язык, бытовой без чрезмерной руссификации, универсальный (как и подобает для перевода античного поэта), но приближенный к темам любовной поэзии. Общая цель поэта — в противовес любовной поэзии Петровской эпохи, поэзии неученых дилетантов, — дать образец легкой поэзии, принадлежащей, однако, великой и для всей Европы авторитетной традиции.

Но если бы даже перевод Кантемира был своевременно издан, он сыграл бы скорее филологическую, чем активно-художественную роль: Анакреона надо было не переводить филологически точно, а перелagать. Так поступит Ломоносов, а за ним все русские анакреонтики XVIII в.

Большая работа положена была Кантемиром на перевод Горациевых «Посланий». Кантемир перевел все 20 посланий первой книги, а из второй книги, включающей так называемые литературные послания, перевел первые два: следовательно, третье послание второй книги, самое известное, «Послание Пизонам» (обычно называемое «Поэтическим искусством»), осталось непеведенным. Рукопись, присланную из Парижа в 1742 г., постигла относительно счастливая судьба: 10 первых посланий (из 22 переведенных) были изданы Академией Наук в 1744 г. без имени автора (несмотря на высокий пост посланника, литературное имя Кантемира даже в год его смерти было еще под запретом!). Перевод выполнен без рифм (тоже по образцу итальянцев) 13-сложным стихом, т. е. тем стихом, что и сатиры; главная забота автора — филологическая точность, как сам он говорит в стихотворном посвящении Елизавете:

Не далеко отстою, хоть с ним [т. е. с Горацием] не равняюсь.

Но трудность заключалась в том, что «Послания» полны римского бытового материала. Как переводить чисто бытовые эпизоды или названия предметов римской утвари и одежды? Говорить ли *туника* и *тога* или *кафтан* и *епанча*? Кантемир идет иногда путем умеренной и деликатной руссификации, цель которой, сохранив точный смысл оригинала, облегчить понимание. Непрерывные примечания поясняют бытовые особенности римской жизни.

Заметим еще, что Тредиаковский, который тоже в 1740-е годы начал переводить Горация, действовал иным методом, методом переложения (правда, он переводил оды), вводил поэтому рифму и всячески приближал Горация к так называемой гораціанской ново-европейской поэзии. Этот метод позднее доведет до совершенства Державин. Но Ломоносов в великолепном переводе «Памятника» (для «Риторики» 1748 г.) следует методу Кантемира, — вероятно, под прямым воздействием издания десяти «Посланий» в 1744 г.; он переводит эту оду Горация без рифм, совершенно точно, сохраняя латинский характер оборотов речи (например «Я буду возрастать повсюду славой»). А это и есть кантемиров метод, примененный, впрочем, великим поэтом, чего о Кантемире-переводчике древних сказать, конечно, нельзя.

В целом, первый русский образец текстологически и стилистически культурного перевода древних — неотъемлемая заслуга Кантемира. Приблизительная одновременность его работы над древними и начала переводческой работы Тредиаковского и, отчасти, Ломоносова, свидетельствует о том, что пред нами действительно новое явление в русской литературе, новая стадия в истории усвоения античной традиции. Параллельны соответствующим трактатам Тредиаковского и труды Кантемира по истории и теории литературы. Кантемир — хронологически первый у нас европейски

- 211 -

образованный, на высоте знаний своего времени стоящий историк литературы. Этот несомненный факт только потому не бросается в глаза, что Кантемир всю просветительную работу по литературоведению рассеял по сотням примечаний к сатирам, к Анакреону и к «Посланиям» Горация. Если бы, однако, извлечь из них все сказанное о греческих, римских, итальянских и английских поэтах, все замечания о литературных жанрах, все умело подобранные цитаты из Ювенала, Горация, Персия, Ренье (французского сатирика, предшественника Буало), из Буало, Лабрюйера и Попа, получился бы своего рода курс истории европейской поэзии. В одной части, именно в истории европейской сатиры, курс был бы, по уровню тогдашних знаний, более или менее полный: своих предшественников в сатирической поэзии Кантемир изучал всю жизнь и знал их в совершенстве, вплоть до точной осведомленности в вопросе о конъектурах (для «Посланий» Горация) или в специальных спорах филологов о понимании трудных и темных мест в тексте Горация. Одновременно примечания (в особенности к «Посланиям») представляют свод знаний о римской жизни. Приходилось пояснять и элементарные вещи (Аполлон, тога, Троянская война и т. д.), и Кантемир, верный сын века просвещения, не считал зазорной эту черную работу популяризации знаний; но многие примечания (а к «Посланиям» Горация почти все) имеют и ученое значение. Так, примечание к стиху 44 в VI послании

Тысячу скопи талант, потом и другую

превратилось в сжатую статью о мерах веса и монетах древнего Рима (составленную по лучшим тогда французским и английским лексиконам древностей). Кантемир передавал русской публике свод знаний о Греции и Риме, накапливавшийся от XV в. и превратившийся к 1740 г. в сложную энциклопедию наук. Соотнести эту работу Кантемира надо с таким трудом Тредиаковского, как его перевод «Древней истории» Роллена (начатый Тредиаковским в 1733 г., т. е. как раз в то время, когда Кантемир приступил к филологическому изучению Горация). В одно, примерно, время, во вторую половину 1730-х годов, Кантемир и Тредиаковский, независимо друг от друга, поняли значение насаждения в России классической истории и филологии и одновременно приступили к осуществлению этой громадной задачи. Благодаря их работе серьезная часть читающей публики была введена в курс современного состояния этой науки в передовых странах Запада.

Как ни значительны были популяризаторские труды Кантемира по филологии, все же они для автора были вынужденным отступлением от иного просветительства, которому он

был предан всей своей страстной душой в более ранние, боевые годы своей молодости. В 1729 г., в год I сатиры, Кантемир начал перевод знаменитого Фонтенелева трактата «О множественности миров». Выбор этой книги для перевода не отделим от всей позиции молодого Кантемира в годы сближения с Феофаном, участия в «ученой дружине» и составления первых сатир. Кантемир сознательно выступает пропагандистом гелиоцентрического учения.

Знаменитая книга Фонтенеля (1686) была к тому времени далеко не новинкой. Не нова была в России, с другой стороны, и Коперникова астрономия: отдельные лица были знакомы с ней еще в XVII в., а в 1717 г. Петр приказал издать «Книгу мирозрения», т. е. «Cosmotheoros», великого голландского ученого Гюйгенса (1698). Но Кантемир возвращается к более старой книге Фонтенеля, потому что, как сам Фонтенель когда-то, он заботился в данном случае не о приращении науки, а о возможно широком распространении ее выводов среди образованных

- 212 -

людей. Для этой цели выбор был как нельзя более удачен. Книга Фонтенеля справедливо считается лучшим образцом популяризации во всей французской литературе, в которой, однако, были такие крупные в этом трудном деле таланты, как историк Роллен, и такие гении популяризации, как Вольтер. Именно Фонтенель нанес в мнении образованной публики смертельный удар астрономии Аристотеля и Птолемея. В русских условиях 1729—1731 гг. перевод Кантемира был бы ударом по староцерковной партии епископа Дашкова; говорим «был бы», потому что издание его тогда не состоялось. В 1730 г. рукопись была сдана в Академию Наук, но всевластный Шумахер потребовал одобрения двойной цензуры, духовной и светской. Дело затянулось, а 1 января 1732 г. Кантемир выехал в Лондон и, естественно, не мог издали торопить дело. Только в 1736 г., переехав в Париж, Кантемир опять поднимает, через того же неизбежного Шумахера, разговор об издании своего перевода, но Шумахер боится заглавия «Разговоры о множестве миров». Кантемир согласен изменить заглавие, «чтобы не раздражать святош» (письмо Шумахеру от 7 июля 1738 г. на французском языке), но дело снова затягивается, и только в 1740 г. книга вышла в свет в типографии Академии Наук, с невинным на первый взгляд, но остроумным и ядовитым указанием на то, что перевод был сделан еще «в Москве в 1730 г.»: это был безмолвно-красноречивый намек на особые условия, в которые был поставлен переводчик. Своим переводом Кантемир положил начало русской научно-популярной литературе. Книга проникла в очень широкие круги. Изувер Михаил Аврамов в челобитной, поданной Елизавете, просит «заградить нечестивые уста» Гюйгенса и Фонтенеля, т. е. изъять старый Брюсов перевод «Мирозрения» Гюйгенса и недавний перевод «Разговоров о множестве миров», в которых «сатанинское коварство явно есть видимо». Аврамов был упорный и одинокий фанатик, но через несколько лет против книги Кантемира ополчился весь Синод. Церковная реакция, характеризующая царствование Елизаветы, начинает систематическую борьбу против распространения гелиоцентрической теории. В 1756 г., т. е. через 12 лет после смерти Кантемира и через 16 лет после издания его перевода, Синоду удалось добиться указа об отобрании «находящейся ныне во многих руках» книги и присылке экземпляров в Синод. Изъятые экземпляры были уничтожены. Заслуга Кантемира достаточно измеряется силой этой посмертной ненависти к его труду.